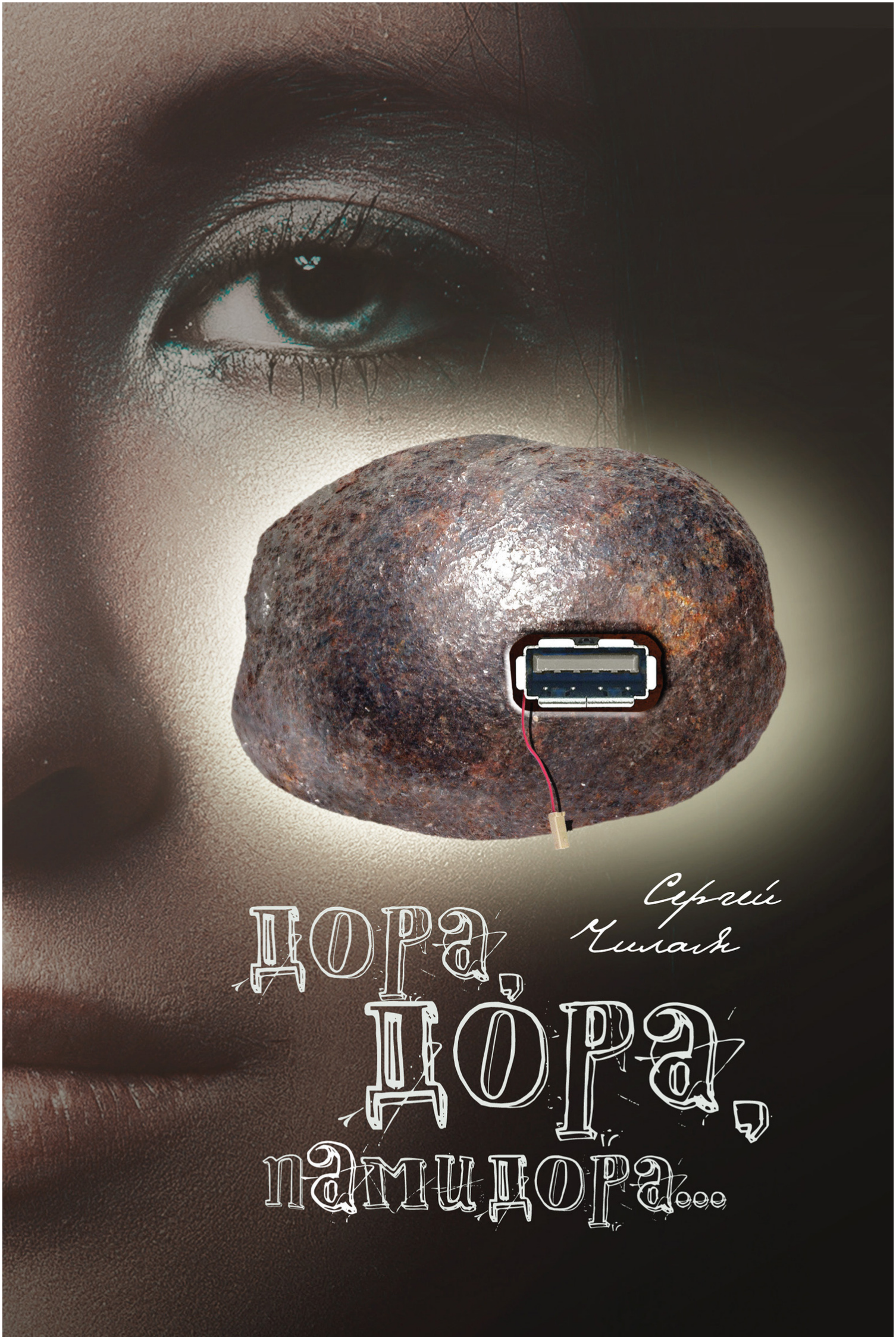

Сергей Чилаев

Дора, Дора, памидора...

Сергей Чилая

Дора, Дора, памидора…

«Accent Graphics communications»
2017

Чилая С. М.

Дора, Дора, памидора… / С. М. Чилая — «Accent Graphics communications», 2017

ISBN 978-1-77192-363-7

«Дора, Дора, памидора» – роман-притча об ответственности ученых и власти за судьбу научного открытия, способного радикально поменять жизнь на планете. Директор института физиологии в урюпинске с маленькой буквы – хотя город и страна называются по-другому – обещает вечную жизнь постояльцам кремля с помощью «другой воды», которую удалось структурировать сотрудникам его института. «Хорошая идея всегда выше возможностей ее претворения в жизнь», – впаривает он верховному правителю из Достоевского. Возможно, в литературе именно так дело и обстоит. Только в науке все по-другому, потому что «наука умеет много гитик». В ходе очередного эксперимента случается косяк высшего порядка в терминах биолога Веры Никифороф, бывшей детдомовской девчонки, чистой и честной, насколько это возможно в современной науке, от лица которой ведется повествование. В результате взрыва в контейнере с водой происходит структурирование, и вода становится «другой». За контейнером начинается охота, в которой принимают участие секретные службы, церковь, постояльцы кремля… Никифороф, пребывая то в роли палача, то жертвы, не желает, чтобы верховный правитель правил вечно и пытается замылить рукотворный артефакт с безграничными возможностями. Возникает иррациональная реальность, которая реализует буйные фантазии Никифороф, включая встречи с верховным правителем. Только оказалось, что другая вода вовсе не другая… и даже не вода.

ISBN 978-1-77192-363-7

© Чилая С. М., 2017
© Accent Graphics communications, 2017

Содержание

Глава 1 7
Глава 2 27
Глава 3 43
Глава 4 57
Конец ознакомительного фрагмента. 66

Сергей Чилая
Дора, Дора, памидора…

© 2017 Сергей Чилая

* * *

Сергей Чилая – доктор медицинских наук, профессор, много лет заведовал лабораторией экспериментальной кардиохирургии в Тбилиси, занимаясь вопросами трансплантологии и искусственных органов. Он и героев своих книг заставляет стремиться к превосходству, действуя в сюрреалистических обстоятельствах иррационально и жестко, потому как быть превзойденными для них непереносимо.

Новый роман «Дора, Дора, памидора» – притча об ответственности ученых и власти за судьбу научного открытия, способного радикально поменять жизнь на планете. Директор института физиологии в урюпинске с маленькой буквы – хотя город и страна называются по-другому – обещает вечную жизнь постояльцам кремля с помощью «другой воды», которую удалось структурировать сотрудникам его института. «Хорошая идея всегда выше возможностей ее претворения в жизнь», – впаривает он верховному правителю из Достоевского. Возможно, в литературе именно так дело и обстоит. Поэтому решение научных проблем, даже если решение оказалось неверным, так колбасит. Только в науке все по-другому, потому что «наука умеет много гитик». К тому же оказывается, что другая вода вовсе не другая… и даже не вода…

Эмме Чилая

Глава 1

Я знала, что наука умеет много гитик.[1] Что некоторые из них больно ранят. Что место, которое занимает наука на земле, по большей части представлено бездорожьем. Остальное вымощено редким булыжником. Лишь кое-где попадаются заасфальтированные участки. Особо не разъедешься. Только на внедорожниках: отсюда до туда. И деньги в науке на дороге не валяются из-за отсутствия дорог. Однако здесь тоже можно запросто срубить бабки – to get cash for trash, пренебрегая научными данными в пользу предрассудков, вранья и спекуляций, что позволяет многим пользоваться наукой, как банкоматом. А плагиат, особенно почерпнутый из научных источников на западе, в умелых руках нередко становится бриллиантом в короне отечественной науки.

Плиний Младший говорил: «В науке – и радость, и утешение». В ней есть нечто таинственное, как в поэзии, недоступное порой самим автором, ибо никто не знает до конца, что удалось открыть.

В науке полно примочек и имитаций. Много беспечного, как в детстве. В ней можно притворяться, как притворяется верховный правитель – наш главный притворщик, а следом притворяется свободной и счастливой страна. Можно годами толкать порожняк с настойчивостью портовой проститутки и получать государственные премии. Но главное, конечно, как карта ляжет. Потому что может и не лечь. У меня, например, легла, только «рубашками» вверх…

И хотя занятия наукой – всего лишь игры разума, открытия, что случаются порой, способны потрясти цивилизацию посильнее планетарных катаклизмов. А удовольствие, которое доставляют эти игры, не просто окрыляет. Оно захватывает дух и сносит «крышу» допаминовой бурей, превращая науку в опиум для ученых с помощью тех же схем, что используют клирики, проделывая свои штучки с религией. Поэтому решение научных проблем, даже если решение оказалось неверным, так колбасит, что меркнет секс.

«Такой вот крутяк», – размышляла я, сидя в последнем ряду гостиничного конференц-зала, и наблюдала за Тихоном, что грузил публику с трибуны докладом вместо Дарвин.

Казалось, он скитается по камням, как в «Подростке» Достоевского, забыв про внедорожник. А когда вспомнил, двинул на нем через бесконечные ряды простыней, что сохли на заднем дворе нашего детского дома… А может, просто пробирался к выходу в переполненном автобусе. И неумело, даже вежливо, потому как ехал общественным транспортом впервые, раздвигал пассажиров тучным телом в костюме размером XXXXL, пошитым на заказ дорогим модельером в Лондоне, чтобы выглядел, будто ширпотреб, заделанный урюпинской фабрикой «Родные просторы». А может, это был дождевой лес по берегам Амазонки, по которому он пробирался вместе с Дарвин прошлым летом в составе международной экспедиции в поисках племени пигмеев, утверждавших, что температура – это скорость. Вождь племени, запавший на Дарвин, сказал ей тогда: «Температура – это просто цифра, мадам. Не хотите остаться со мной? Узнаете много интересного про воду, которая не кипит и не замерзает»…

А Тихон на трибуне нервно ищет проход в частоколе стволов дождевого леса. Но за счет габаритов и барственной осанки смотрится из зала довольно сносно. Хоть продолжает говорить неуверенно и как-то жалко на доморощенном английском, недоверчиво оглядываясь на чередующиеся слайды за спиной. Ситуация набухает.

Только зря он так нервничает. Его никто не слушает. Публика в зале привычно перешептывается, перемещается с места на место, дожевывая бутерброды после недавнего кофе-брейка. И он благодарен им за это. А когда, наконец, добирается в своем путешествии до реки или бассейна, входит в воду по пояс и начинает мучительно переминаться там, будто ищет

[1] Все совпадения с реальными событиями и именами случайны.

место, чтобы помочиться с комфортом. И так увлекается этим занятием, что не хочет переходить к главному. И бормочет что-то невнятное и обыденное, пудря мозги дремлющей публике температурой, которая с точки зрения атомной физики есть скорость движения атомов внутри вещества, а не застывший в стекляшке столбик ртути или дрожащая стрелка. Тут пигмеи были правы. Чем быстрее движутся атомы, тем выше температура. Только новейшая физика предлагает рассматривать сущность температур не как линейный показатель, а как петлю, в которой положительные и отрицательные температуры – части единого процесса.

– При достижении абсолютного нуля атомы водорода останавливают движение, но температура не заканчивается на этом. Она переходит к отрицательным значениям, в которых объекты ведут себя, по меньшей мере, странно. – Тихон гонит эту хрень, лишь бы не переходить к главному: к козырному тузу, что спрятан в рукаве. И говорит смущенно: – Чем холоднее объект, тем больше энергии он излучает. – И добавляет, насаждая публике чуждые вкусы: – Еще одной особенностью отрицательных температур является их способность снижать энтропию внутри и вокруг себя…

Я слушаю из задних рядов пустопорожнюю Тихонову болтовню с изумлением и тревогой. Что заставляет его, известного ученого, парадоксального и талантливого, равнодушного к тому, что создано не им, жесткого, даже жестокого, в управлении городом и институтом, вести себя застенчиво и невнятно на трибуне, словно санитар, читающий на ученом совете чужой реферат?

– Обратное распределение Больцмана наиболее точно… – Тихон виснет на полуслове. Лезет в рукав за тузом. Достает. Медлит почему-то, но, наконец, рожает: – Нам удалось так изменить структуру воду, что она перестала замерзать…

Ученая публика не врубается, хоть шум в зале поутих. Он начинает нервничать, отрывает глаза от листов с текстами доклада и видит Дарвин. В новомодных одеждах, похожих на тряпки с чужого плеча – high-low stile,[2] которые эпатируют каноны высокой моды, позволяя носить вечерние платья с кроссовками или поверх брюк, она спешит ему на подмогу. И идет по проходу походкой Ассоль, не дождавшейся алых парусов. Невероятное сочетание новизны и постоянства. Кто-то говорил, что выражение на лице важней одежды, успокаиваю я себя и тут же с завистью вспоминаю ее гардероб, в котором столько тряпок, что не доносить ей до конца жизни, нипочем. Дарвин любит повторять: «Можно прожить очень долго без необходимых вещей, но без лишних – никак». А перед отъездом подарила мне платье: английский костюм, очень дорогой и строгий, потрясающего серого цвета. В мелкую клетку. Я ношу его здесь запоем уже третий день.

Дарвин в скудных одеждах подходит к трибуне, встает рядом с Тихоном, не обращая внимания на протесты модератора-итальяшки в президиуме.

– Меня зовут Дора Дарвин, – говорит она и улыбается притихшему модератору. – Город урюпинск. Я заведую лабораторией биофизики клетки в институте нормальной и патологической физиологии, которым руководит доктор Перевозчиков. – Она кладет руку Тихону на плечо. – Уверяю вас, он не шутит и не впаривает пустое про «живую воду». Хотя в нашей стране верят в любую фигню. Особенно в кремле, постояльцы которого столетиями мечтали о вечной жизни не меньше, чем о полной победе над своим народонаселением.

Меня пугает инакомыслие Дарвин, ее постоянная фронда, которой она бравирует по любому поводу и без. Сама я не страдаю нонконформизмом и равнодушна к власти. И политика меня интересует не сильнее прошедших менструаций. Хоть понимаю, не хуже Дарвин, все бессердечие, жестокость и лживость верховного правителя и его окружения, более всего озабоченных сохранением собственного благополучия… и благоденствия, если это слово способно передать состояние, в котором они перманентно пребывают, презрев и бросив на произ-

[2] Сочетание в одежде дорогих и дешевых вещей.

вол народонаселение. А те мелкие подачки с барского стола, что достаются народонаселению, утопающему в конформизме, лишь способ предотвратить недовольство и сохранить стабильность. Когда я слышу это бодягу про стабильность, у меня начинается падучая.

Нынешняя власть дала мне вполне сносную, комфортную жизнь, если не считать жизнью время, проведенное в детском доме. Позволила заниматься любимым делом. Большего от нее я требовать не могу. И не требую. И лезть под пули за участие в несанкционированных митингах оппозиции или публично выказывать собственное инакомыслие, рискуя оказаться за решеткой, не собираюсь. Правда, порой, вспоминая детский дом, мне приходит на ум мальчик-заика из старшей группы, в отличие от нас смотревший новости в ящике. Однажды он сказал: «Власть, зарабатывающая миллиарды на торговле ископаемыми, могла бы обеспечить нас более сносным существованием». Из всего сказанного им тогда я на всю жизнь запомнила слово «сносный»…

– Здесь… весь цвет мировой криобиологии… нобелевские лауреаты… успехи физики низких температур… молекулярная биология… поведение атомов… – Дарвин продолжает разруливать Тихоновы косяки в конференц-зале отеля Hilton Grand Vocation Suites в Майами. Она так напориста, убедительна и хороша собой… просто зашибись. Рядом с ней я чувствую себя потрепанной девахой, которая только что выбралась из грузовика.

– Нигде открытия в важнейших вопросах познания не преследуются с такой яростью, как в академической среде. Нигде, кроме научных сообществ, реальные авторы открытий не застрахованы от обвинений в занятиях лженаукой, в подтасовке фактов, в продажности. Раньше их сжигали на кострах. Теперь лишают работы, прячут в психиатрические больницы… Разумеется, есть риск стать посмешищем, остаться в дураках, потратив жизнь на отстаивание безумной идеи. Но это уже, «как карта ляжет». А можно всю жизнь заниматься чистой наукой и «считать ракушки» или мух-дрозофил. Комфортно и безопасно. – Дарвин не смогла отдаться толпе и теперь в отместку прямо с трибуны засаживает перья в ученые зады присутствующих.

Часть публики раздраженно вскакивает с мест. Движется к Дарвин, забывая о перьях. Шум усиливается. В последних рядах, где я сижу, уже не разобрать слов. Но я знаю текст назубок, потому как перепечатывала доклад на русском, а потом на английском много раз. И сама была участником тех событий, что принесли нам «другую воду».

А Дарвин продолжает на потрясающем американском английском, будто выросла в Вашингтоне. Ей вообще легко даются языки, как, впрочем, и многое другое. Будто сидит внутри жесткий диск могучего компьютера, позволяющий за пару месяцев необременительных занятий заговорить на чужом языке.

А мне английский не дается ни с репетиторами, даже если ложусь с ними в постель, ни без. Может быть, из-за слишком большого клитора, удивившего когда-то Дарвин. Хотя один из них – отпрыск респектабельной белогвардейской семьи-репатриантов из Шанхая обучил меня ненормативной английской лексике, которая намертво впечаталась в мой мозг… Через месяц или два, как я поступила на службу в институт простой лаборанткой, хотя закончила биофак университета в северной столице, Дарвин увидела меня в душевой теннисных кортов. Подошла, оглядела, будто бигля перед экспериментом, и вежливо сказала:

– Никифорова! – Она всегда звала меня по фамилии. – У тебя слишком большой клитор для женщины. – Будто клиторы бывают у мужчин. – Буду звать тебя Никифорофф. – Эта сука реваншировалась за проигрыш в двух сетах. Мне стало стыдно. Я впервые удрученно глядела на свой клитор и всматривалась в передок Дарвин под узкой полоской мокрых штанишек, сравнивая размеры. Слово «гермафродит» тогда не возникло во мне, но позже оно появилось и временами звучало пугающим набатом, отличая от других, хоть поводов не было совсем. Только появилась дурная привычка украдкой разглядывать гениталии других женщин.

После разговора в душевой у меня возник болезненный комплекс «большого клитора», на который не знала, как реагировать. Знаю лишь, что теперь он соседствует с «комплексом

Электры», который поселился во мне еще в детском доме, как у Дарвин, бессознательно завышая мнение о себе…

А тогда на корте грубо ответить Дарвин не смогла. И не потому, что трусила. Просто я прощала ей все, даже больше. И любила ее, как может любить только собака, преданно и верно, хотя нечто, совсем не собачье, мешало полному счастью… Это Дарвин прислала в универ заявку на меня от Тихонова института, пусть и на должность лаборантки, чем немало рассмешила деканат. Я держала ее за божество и старалась подражать во всем, хоть люто ненавидела порой. Она заметила подражание и сказала однажды:

– Нельзя научиться от другого, как жить. Только прожив собственную жизнь можно научиться чему-то. Или рассчитываешь на эффект Золушки? Колись, Никифороф…

– Нам удалось структурировать воду, которая не замерзает и не образует кристаллов льда при охлаждении ниже нуля.

– Наслаждаясь эффектом, Дарвин поглядывает в зал, давая возможность разнервничавшейся публике поучаствовать в торжествах. Однако публика не спешит, и Дарвин продолжает утюжить ученых: – Научные факты являются социальными конструкциями. Отказавшись от криопротекторов, мы пошли другим путем, как говорил Ленин.

– Не думаю, что в молекулярной биологии следует руководствоваться заветами покойного вождя урюпинской революции, – подает голос модератор. – Lord forbid![3]

– Если бы следовали, жили в другой стране: благополучной, богатой и счастливой своими гражданами. А вода с перестроенной структурой… мы назвали ее «другой водой», обладает рядом уникальных свойств, – наседает Дарвин, – что позволяет использовать ее в качестве идеального криопротектора при длительном хранении органов перед трансплантацией. Ее можно будет использовать, как средство для создания банков органов. Для замораживания и хранения при температуре жидкого азота целостных организмов с неизлечимыми болезнями в надежде на успехи медицины будущего.

Она умело держит паузу, а потом снова начинает поливать:

– Сиюминутные лечебные эффекты такой воды при моделировании некоторых патологических состояний представлены на слайдах. Данные взяты не с потолка моего кабинета. – Публика в зале, конечно, знает, что с потолка. – Однако они меркнут в сравнении с потенциалом другой воды, – продолжает Дарвин, – которую можно будет использовать в качестве идеального энергетического материала и носителя информации.

Раздаются жидкие аплодисменты, будто Дарвин удачно посадила самолет, перелетев через океан. Только ушлая публика знает: воду с температурой ниже нуля без добавок не получить, как ни старайся. Против законов природы не попрешь, даже если выбросить миллионы на ветер. И продолжает выкрикивать ироничное и злое что-то про дельцов от науки, про нечистых на руку ученых, fucking uryupinsk scientists и прочую хренотень. И кажется, происходит это не в Майами, куда, на большой криобиологический сходняк, съехалась ученая публика со всего света. А в Козельске, на съезде молодых ученых-гельминтологов.

Только Дарвин, как Пушкин, досадовала, когда иностранцы разделяли с ней чувство презрения к нашей власти. – Вам не нравятся урюпинские ученые? – Досадует она, пробиваясь сквозь густое «У-у-у-у-у» зала. – Но ведь это они изобрели периодическую таблицу элементов, паровой двигатель, радио, паровоз, телевизор, вертолет… Патентовать не умели. – Мне показалось, она забралась на трибуну, чтобы защищать честь страны, а не делать научный доклад.

Модератору-итальяшке тоже показалось:

– Доктор Дарвин! – подает он голос. – Фольклор многих стран, особенно вашей, замечательно описывает свойства и возможности «живой воды». Надеюсь, вы знакомы с подобной литературой. Тогда вам должно быть известно, что заявления о наличии памяти у воды, об

[3] Не приведи, Господи!

успешном ее структурировании, исключающем замерзание при низких температурах, современная наука считает шарлатанством. – Итальянец, с лицом deep-rooted ladies' man,[4] несколько лет безуспешно охмурял Дарвин на всех симпозиумах. И даже приезжал за этим к нам в урюпинск.

– Если бы наука не закрывала глаза на события, которые не укладываются в общепризнанные представления и теории, будто боится чего-то… – отбивается Дарвин, но ее почти не слышно из-за шума. Я смотрю на Дарвин, впервые терпящую бедствие. Ученая публика завелась, особенно женщины, не простившие ей ни красоты, ни породы, ни одежд и ума. И перекрикивая друг друга, продолжают обличать во лжи и других грехах, поминая кремль и верховного правителя, и его безумства. И ведут себя так, будто XV век на дворе. И толпятся с вязанками хвороста в руках, чтобы подбросить в костер, разведенный под Дарвин. Я понимаю их. В последнее время отношение к нам во всем мире поменялось. Ежу понятно, в какую сторону. Мне жаль своего ежа, который несет на себе тяготы этого понимания. Жаль наше народонаселение. Но еще больше жаль Дарвин.

Только выкриками из зала ее не пронять. «Не требуй постоянно справедливости по отношению к себе, – втолковывал ей Тихон. – Сильный человек должен принять то, что ему досталось и сохранить достоинство, и лицо». Дарвин была прилежной ученицей и давно должна была стать директором института вместо Тихона, невротика и задрота в науке. И доклад этот она должна была делать сама. И не только потому, что первый автор и живая вода – ее заслуга. Хотя, иногда мне кажется, что моя…

Тихон вообще был с самого начала против публикации данных о другой воде в Майами. А когда понял, что Дарвин все равно выступит с докладом, настойчиво и грубо вытребовал это право для себя, и сделал все, чтобы провалить сенсационное сообщение. И неважно, что он самый богатый и могучий человек в урюпинске с маленькой буквы, хоть городок наш, как и страна, зовется и пишется по-другому И со всеми потрохами, и институтом в придачу, принадлежит Тихону Академику Тихону Трофимовичу Перевозчикову, мэру урюпинска. ТиТиПи, как называет его за глаза институтский народец.

Дарвин все-таки остановила доклад. Публика успокоилась, расселась по местам. Итальяшка пригласил следующего докладчика, недоуменно поглядывая на Дарвин у трибуны. А она шагнула вперед и, порывшись в одеждах, извлекла на свет цилиндрик, похожий на тюбик губной помады. Свинтила крышку. Наклонила и из горлышка медленно выбралась… Я обомлела: это была «другая вода». Только как она посмела? Как вывезла Изделие из института без разрешения службы безопасности? Как безрассудно тратит ее сейчас, проливая?

Вода зависла над ладонью колеблющимся облачком, размером с небольшое куриное яйцо, преломив, подобно бриллианту, световые лучи. Конференц-зал пятизвездочной американской гостиницы наполнился радугой, яркой и сочной, из конца в конец, как в степи под урюпинском после грозы. Запахло ковылем, пылью, прибитой дождем. Дарвин сжала облачко в ладони. Подержала. Разжала ладонь, на которой теперь лежал, чуть подрагивая, кусок студня, похожего на гранату «лимонку» из агар-агара, и чуть парил. А потом случилось невероятное, сопровождавшее всякий раз появление другой воды. В кусочке студня возникла невиданная мощь и масштаб, и сила. Казалось, в капле сконцентрировался гигантский объем воды, несопоставимый с привычными земными размерами, который прямо счейчас легко и просто, будто кружку пива, заполнит конференц-зал и город, и двинется дальше.

Дарвин двинула рукой. Радуга исчезла. Неформально структурированный студень потянулся за рукой, как океан в «Солярисе» Лема. Она не стала продолжать манипуляции: – Я могу вытянуть эту воду в нить и намотать на палец. – Зал растерянно молчал. Лишь щелкали фотокамеры в телефонах.

[4] Закоренелого бабника.

Дарвин погрузила каплю в тюбик. Мне показалось, вода скользнула в упаковку с удовольствием. И, прежде чем спуститься в зал, сказала:

– Однажды Бернард Шоу заметил: «Многие великие истины сначала были кощунством». Давайте договоримся: точка замерзания воды – это всего лишь цифра, которую можно менять, как впрочем, и удельный вес.

И шла по проходу на свое место в задних рядах с непроницаемым лицом – with a poker face. И посвечивала потрясающим, совсем не научным телом в отраженном свете Тихоновых миллионов, происхождение которых в маленьком урюпинске оставалось загадкой не только для меня. А зал по-прежнему молчал, будто вымер. А потом взорвался аплодисментами, свистом и криками. Публика рванула к Дарвин. Окружила, приветливо помахивая перьями. Принялась обнимать, радостно похлопывать по плечам. Старалась оторвать куски ткани от модных лохмотьев. Пыталась тащить к трибуне. От злобного негодования не осталось следа. Ученый народ поверил в сообщение Дарвин и легко представил, чем грозит миру этот крутяк. И надеждам, и восторгам публики, превратившейся в обычную уличную толпу, не было конца.

Словно с неба попадали журналисты, телерепортеры. Оттеснили публику. Совали в лицо микрофоны, теле- и фотокамеры. Просили еще раз пролить «другую воду», намотать на палец. И, задавая вопросы, приговаривали что-то про новую эру в энергетике, что круто поменяет жизнь на земле, и не только на земле; про замораживание органов, которое на фоне холодного термоядерного синтеза уже не казалось первостепенной задачей…

«Еще один звездный час Дарвин, что случается с ней по нескольку раз в году», – думала я, глядя на свою начальницу, прилежно сидевшую в кресле под прицелом телекамер с лицом Приснодевы, блаженной и счастливой девственницы-недотроги без штанишек под одеждами – happiness don't put on pants.[5]

Подошел модератор-итальяшка, криобиолог с мировым именем, похожий на Марчелло Мастроянни. Улыбчивый и добрый, и такой же красивый. Постоял, наблюдая издали, как колбасит публика и журналисты подле Дарвин, и стал пробиваться к ней. Я двинулась следом. Поотстала и не услышала, что впаривал ей Марчелло. Но, видно, в этот раз ему повезло: размякшая от триумфа Дарвин согласилась поужинать с ним.

– Поедешь с нами, Никифороф, – сказала она. Выбралась из толпы. И двинулась к ТиТиПи, окруженному журналистами. Она что-то говорила ему, поглаживая лацканы пиджака, и нежно заглядывала в глаза. Тихон сердито качал головой, а потом заорал:

– Что ты себе позволяешь, Дора?! Это международный симпозиум, а не посиделки оппозиционеров, ругающих власть и пользующихся ее благами. – Увидел меня и заорал еще громче: – А ты убирайся с глаз моих, сука! Не могу шагу ступить, чтобы не наступить на тебя!

Только рассудочное поведение – не для Дарвин. Через несколько минут длинная черная тачка везла нас на окраину Майами. Возле входа в приземистое одноэтажное здание с колоннами я прочла название кабака на здоровенной вывеске, поставленной вертикально: «The Joe's Stone Crab».[6]

– Культовый ресторан со столетней историей, известный на всю Америку, – поведал Марчелло, прежде чем мы вышли из машины и снова попали в лапы телевизионщиков. – Славится свежими каменными крабами.

Маленький толстый незнакомец with the bald spot,[7] в светлых джинсах и портретом Буша младшего на черной майке встал из-за стола. Представился: – Бенджамин Франклин. Можно просто Бен.

---

[5] Счастливые трусов не надевают.

[6] Каменные крабы Джо.

[7] С лысиной.

Я подумала: шутит чувак. В компании Дарвин и Мастроянни нам не хватало только Бенджамина Франклина, чей портрет уже больше ста лет красуется на самой любимой бумажке человечества – стодолларовой купюре.

– Мистер Франклин – биофизик по образованию, известный в Штатах финансист, меценат и, как его далекий предок, давний друг вашей страны, – донесся до меня голос Марчелло.

Предок, действительно был гениален и изобрел не только американскую демократию и кресло-качалку, но успел, единственный из отцов-основателей, подписать все три исторических документа, что легли в основу создания Соединенных Штатов: Декларацию Независимости, Конституцию и Версальский мирный договор.

Нам подали в деревянных корытцах еду, похожую на люлякебаб, присыпанный сыром и завернутый в тонкие лепешки. И еще что-то в серебряных мисочках. – Это пуэрториканский севиче, – сказал Марчелло. – Лучший образчик холодной закуски: морепродукты в лимонном соке. – Он был в ударе. Смотрел на Дарвин влюбленными глазами. Шутил, вспоминая свои поездки в нашу страну. Говорил комплименты, что-то про криобиологию, предлагал перебраться на жительство в Турин, на севере Италии, где у него исследовательский центр. Казалось, рядом сидит настоящий Мастроянни, которого так хотелось потрогать.

С «кебабами» мы с Дарвин справились, а «лучший образчик» выжег язык и слизистую рта, будто серной кислотой, настоянной на чилийском перце. И белое калифорнийское вино не выручало.

Официант подкатил тележку с новой посудой. Будто фокусник, раскидал по столу столовое серебро, такие же тарелки и кучу щипцов, кусачек, ножниц и прочего медицинского инвентаря. Через головы надел на нас полиэтиленовые накидки. Я почувствовала себя в институтской операционной. Официант не стал возражать. Расставил бокалы для вина, стаканы для виски и воды, ведерко со льдом и отправился за выпивкой. Вернулся. Мы выпили. Официант налил еще.

Встал Бен, сверкнув бритым черепом, и не к месту заявил:

– Хочу пожелать вам, дамы, хорошей страны. Ваша не тянет пока.

Мы не стали спорить, хоть я думала, что страна у нас, пусть с диктаторскими замашками, но вполне сносная, и снова выпили. Пока пили, официант притащил тележку с огромными черно-красными крабами, лежащими горой на блюде. После короткой дискуссии о биологических особенностях каменных крабов мы принялись за дело.

За едой почти не разговаривали из-за трудностей с разделкой каменных чудовищ. Зато, принявшись за фрукты, публика заговорила. Я была уверена, главной темой станет другая вода. Оказалось, вода – под запретом. Американец, похохатывая на весь зал, пересказывал жизнь знаменитого предка, сдабривая ее анекдотами. Я не все понимала. Даже еще меньше, особенно в анекдотах. К тому же американец пропускал согласные в словах, и пойди догадайся, про что он толкует. Поняла, однако, что Бенджамин Франклин был первым американцем, ставшим иностранным членом нашей академии наук. И что в пику всем своим достоинствам, слыл самым знаменитым сифилитиком и алкоголиком в Штатах. Это знание сильно приукрасило портрет чопорного джентльмена на купюре.

А Бен, покончив с предком и продолжая похохатывать, нараспев, на одних гласных, предложил Дарвин перебраться в Штаты и поработать в институте криобиологии, известном на весь мир своими Нобелевскими лауреатами.

– Это вопрос приоритетов, – сказала Дарвин, чтобы ничего не сказать. Даже не поблагодарила. И попросила налить виски: – Нет, без льда. На два пальца. Моих! – Я знала, чем это кончится. Она попросит еще, потом еще. Потом кубинскую сигару, что потрясающе пахнет, пока в пенальчике. А потом… я не хотела думать дальше…

Однако Дарвин не теряла головы, несмотря на выпитый бурбон, который пока мирно уживался в ее желудке с калифорнийским вином. Она была по-прежнему чудо, как хороша, собрана и демонстративно недоступна.

Возможно, от выпитого и всего происходящего, у меня помутился рассудок, и крыша поехала так заметно, что на короткое время я выпала из реальности. А когда вернулась, увидела, как Дарвин, сняв под столом туфлю, шевелит пальцами босой ноги в Марчелловом паху. Я знала, что она лишена дешевого дамского кокетства и сама решает с кем и когда заняться любовью, и как. Секс для нее был не важнее игры в теннис по субботам или яичницы с жареной ветчиной по утрам. Но чтобы прилюдно, чтобы в известном на весь мир кабаке, голой стопой тормошить мужские гениталии?! «Nobody is perfect».[8] Я покраснела от чужого бесстыдства, не хуже сваренных крабов. Голова закружилась.

А Дарвин сидела с прямой спиной и в паузах, любезно предоставляемых Беном, пересказывала байки из провинциальной жизни нашей страны. Хотя вся наша страна – провинция. Лишь румянец выдавал присутствие больших доз алкоголя в крови. Только я знала: еще немного и Дарвин перейдет черту, за которой поведет себя непредсказуемо. И непредсказуемость эта может продлиться несколько дней, которые в урюпинске она обычно проводит в обществе санитара Евсея – служителя институтского морга, похожего бородой и ярко-синими глазами на Саваофа. И никакая сила не может заставить ее покинуть владения Евсея до срока, известного только ей, а, может, и ему.

Для Дарвин жизнь была чередой ритуалов, нерушимость которых держалась на необязательности их соблюдения. Поэтому всякий ритуал – лишь игра в порядок, который не выносит ее вольнолюбивая душа и тело тоже. Для нее большинство ритуалов лишено смысла. Лишь у некоторых сохранились значения. Это знание дает ей свободу, которой мне так недостает.

– Может быть, травку? – поинтересовался Бен, глядя на меня. – Кто вы, прекрасное дитя?

– Я тут случайно. Шла мимо. Решила зайти…

– Здорово! – Бен совсем не удивился. – Забьем косяк?

– Конечно! – оживилась я, забыв про Дарвин и контейнер с другой водой. Но Дарвин, бравшая на себя все ответственные решения, тоже не стала артачиться.

Прямо за столом с крабами мы забили косяк, пустив сигарету по кругу. «Все стало вокруг голубым и зеленым». Я почти догнала свою начальницу и простила сомнительный флирт с Марчеллой.

– Мы могли бы поужинать вдвоем, – стал кадрить меня Бен, quite soft-core. – Согласны?

Конечно, я была согласна. А Дарвин вдруг встала:

– Простите, джентльмены. Оставлю вас на пару минут. – И, забыв про туфлю, двинулась в туалет. «Началось», – с ужасом подумала я, поднимаясь.

Дарвин заняла одну из кабинок. Я не знала, какую, и расположилась в свободной, и успокаивала себя: «Слава Богу, здесь нет Евсея». Однако отсутствие Евсея еще не гарантировало благополучного завершения ужина. Я сидела на стерильном унитазе, вслушиваясь в шорохи дамского сортира, и не слышала ничего предосудительного. И, мучаясь догадками, старалась представить, что делает Дарвин в своей кабинке в полной тишине: звонит Евсею, Тихону, мастурбирует, прячет контейнер с живой водой?

– Дора? – услышала я за дверью голос Марчелло. Рядом щелкнул замок. Открылась дверь. Мне захотелось провалиться сквозь землю, лишь бы не слышать. Подумала: «Хорошо, что сижу».

Теперь я слышала все, а представляла еще лучше. И возмущенно, и злобно, а может, завистливо, осуждала Дарвин за пьянство в чужой стране, за постыдное распутство в сортире,

[8] Никто не совершенен.

за блистательный доклад, за отсутствие добродетели. И чувствовала, как возбуждаюсь сама. И так сильно, что большой клитор требовал немедленной ласки. И уже была готова согласиться…

Я знала, что случится плохое. И случилось. С шумом распахнулась входная дверь. С криками ввалилась куча полицейских и стала дергать ручки кабинок. Когда добрались до меня, я была почти без сознания от страха и стыда.

– Простите мэм, – сказал один из копов, их было двое всего, и принялся дергать остальные дверцы. Мне показалось, они знают, что ищут. И нашли. И вежливо, даже стыдясь, попросили Дарвин с Марчелло выйти из кабинки. Сказали что-то про права и потребовали проследовать за ними в участок.

В голову лезло: «мочить в сортире». Я почувствовала, что заболеваю. Что стремительно растет температура. И в странном горячечном бреду видела, как разъяренная полураздетая Дарвин, привыкшая, что все дозволено, выбирается из кабинки и кричит копам: – For fuck's sake![9] – И что-то еще, и периодически апеллирует к Марчелло. А тот приводит себя в порядок и не спешит поучаствовать в дискуссии.

Хоть болезнь моя прогрессировала, я твердо помнила из фильмов и книг, что за это не тащат в участок. Что в туалет дорогущего майамского ресторана дорога полицейским без особой нужды заказана, что…

Появился Бен. Невозмутимый и законопослушный, он вступил в переговоры с копами, но ничего не добился. Дарвин увезли и Марчеллу тоже. Мы остались в туалете вдвоем. Смотрели на пустую кабинку, где только что так опрометчиво предавалась любовным забавам Дарвин, и молчали. Мне показалось, Бен коснулся ладонью спины и подтолкнул вперед. Я почувствовала себя доступной, как никогда. Не стала привередничать и шагнула в кабину с туфлей Дарвин в руке. Оглянулась: американец стоял на цыпочках и, грозя разрушить писсуар струей, говорил что-то, прижимая плечом телефон к уху.

Когда мы добрались до участка, Бенов юрист уже поджидал нас. Я опять отключилась, перестав контролировать вновь задвигавшуюся крышу. Лишь видела звезды сквозь прорехи в ней. И потолок американской ментовки, и яркие лампы на потолке не служили помехой.

Я пришла в себя, когда в прохладном коридоре с запахом океана появились Дарвин с Марчеллой. Не сломленная полицейским участком, независимая и бесстрашная недотрога, почти девственница и пуританка, Дарвин гордо смотрела на меня:

– Привет, Серая Шейка! Чтобы проталинка не замерзла, надо постоянно шевелить лапками. Не забыла? – Будто меня пришла вызволять. И хотя в Америке мат не находится под запретом, я не могла вести с ней дискуссию на равных. Лишь подумала: «Screw you!».

Вместо меня заговорил коротышка Бен, поглядывая на перепуганного итальянца:

– Произошло недоразумение, коллеги. Конфликт улажен. Предлагаю отпраздновать ваше освобождение. Сделаем это на яхте, пока не очень темно. Выпьем, потанцуем…

Марчелло пытался отказаться, сославшись на свой завтрашний доклад. Но Бена меньше всего интересовали проблемы итальянца.

– The problem of the world is that «I don't give a fuck» kinda guy clearly expresses his thoughts than a laid-back person,[10] – сказал Бен. И я с трудом поняла, что он имел в виду. Только почему адресовал этот текст Марчелле, для меня осталось загадкой, как, впрочем, многое из того, что случилось в этот безумный день. К сожалению, память оперирует картинками и собирает вместе лишь то, что сочетается, а не то, что было на самом деле. Поэтому так трудно отделить подлинные события от воображаемых.

---

[9] Какого хрена.

[10] Одна из мировых проблем состоит в том, что законченные мудаки выражают свои мысли куда лучше простых придурков (жаргон).

– Сносная яхта, – заметила я, оглядывая огромную посудину со знанием дела, будто урюпинск – столица семи морей.

– Да уж, крышу сносит, – поддержала Дарвин. – Знаешь, чего они хотят?

– От вас?

– От тебя тоже.

Я не стала спрашивать, потому как ответ был один: им нужен контейнер с другой водой. Все остальное призвано завуалировать отъем упаковки. И желательно, чтобы отдача была добровольной.

Яхта отошла от берега на несколько миль. Капитан, в белой форменной одежде, но все равно вылитый вечный доцент с биофака нашего универа в северной столице – их там было три таких чувака, до боли похожих друг на друга, и не только лицами, – спустил паруса, положил яхту в дрейф и принялся сервировать стол, привинченный к палубе. Сыр, барбекю, белое вино, фрукты. The great spread was continuing.[11] Мы ели медленно. И медленно пили, словно оттягивали грядущие беды. И молчали: после всего случившегося нам нечего было сказать друг другу. А у меня в голове рефреном ходил по кругу дурной вопрос: зачем мы согласились на эту поездку? Будто кто-то спрашивал у меня согласие.

– Что это было? – первой заговорила Дарвин, ни к кому не обращаясь. Публика перестала жевать. И яхта дрейфовать перестала.

– Вы попали в полицейскую облаву, – миролюбиво заметил Бенов юрист. Высокий и жилистый, в морщинах даже на носу, он, казалось, рекламировал собою успешные операции аорто-коронарного шунтирования у пожилых. И чтобы усилить впечатление, помогал капитану в маневрах с парусами.

– Зашибись! – огрызнулась Дарвин. – Я себя впервые почувствовала уличной девкой.

«Так оно и есть, – злорадно подумала я. – Наши ученые не трахаются в чужеземных сортирах». Но Бен уже спешил на помощь:

– Don't stream your beam, Dora. You are a real lady.[12]

– I don't care,[13] – сказала Дора. Однако мы обе воспрянули духом. Марчелла тоже зашевелился. Нежно посмотрел на Дарвин. Поцеловал босую стопу с длинными тонкими, как у школьницы, пальцами.

Традиционное и инстинктивное для наших людей чувство незащищенности в столкновении с более могущественным и компетентным Западом исчезло. Улетучилось, растворилось и забрало с собой подозрительность, страх, ощущение близкой беды и напряженность. И уже не требовало от нас, в порядке компенсации, морального превосходства над иностранцами.

«Господи! – думала я, пребывая в экзальтации и оглядывая пространство. – Как прекрасен этот мир. Как безмятежен. Как разумно устроен. Как добры и не заносчивы американцы. Как хорош влюбленный Марчелло…». И искренне благодарила Дарвин за поход в крабовый кабак, за место в ее лаборатории в Тихоновом институте, за эту безумно красивую яхту, за симпозиум в Штатах, за…

Подумала о другой воде, которая для меня была чем-то вроде волшебного увеличительного стекла, придающего планетарный масштаб рядовым событиям, оставляющим на них не только загадочный отблеск вечности, но место для игры воображения. Отсюда рай на небесах казался шведской деревушкой: сытой и комфортной, приятной во всех отношениях. А воображение рисовало картины будущей счастливой жизни, обязанной присутствию другой воды. И власть в урюпинске, и любезном отечестве поменяется, потому что нефть и газ перестанут

[11] Вечеринка продолжается.

[12] Не парьтесь.

[13] Мне плевать.

приносить доходы, добывай-не добывай, и служить символом денег. Даже тех, что с портретом Бенова предка. Их заменит другая вода. И Тихон перестанет корчить из себя императора и гнобить челядь, и бандиты уберутся из мэрии. И, как о чем-то неважном и совсем далеком, промелькнула и угасла мысль: «Почему они не просят показать Изделие?».

Мы снова принялись за сыр и вино. А потом капитан принес из каюты пару бутылок виски «The Balvenie» и ведерко со льдом. Я опасливо посмотрела на бутылки, на Дарвин, увлеченную Марчеллой…

– Коллекционный шотландский виски, – сообщил Бен. – Хранится в бочках из-под хереса не менее тридцати лет. – Налил в тяжелый стакан. Пододвинул мне. – Хлебните! – Пахло медом и фруктами, особенно грушей…

Тридцатилетняя выдержка давала о себе знать: виски проникал в желудок легко и беззаботно, будто компот в детском доме, где я выросла. И также беспечно накапливался в крови, не туманя голову. Лишь усиливалась эйфория, непривычно праздничная и незатейливая, как в первый день Нового Года.

– Потанцуем! – предложил Бен. Я хотела спросить: «Что?», но не успела. Он исчез в рубке, подвигал компьютерной мышкой и знаменитая «Chattanooga Choo Choo» в исполнении Рея Конифа загремела над океаном:

«Pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo choo? Yes, yes. Track twenty-nine. Boy, you can gimme a shine».

Бен начал ворочать телом. Протянул руку: – Come on, baby!

Я никогда не танцевала буги-вуги. Видела в кино. Однако встала. Подошла. Собралась осторожно подвигать тазом, но музыка заворожила. Закружила голову. Навязала ритм. И вместо того, чтобы осторожно, носком стопы, попробовать воду в бассейне, бросилась в омут незнакомого танца, уверенная, что Бен поможет. И Бен творил чудеса. Я танцевала и одновременно училась движениям буги, которые все усложнялись, потому что Бен прямо на ходу придумывал новые па. И я, уже предугадывая, что он выкинет в следующий раз, с удовольствием подчинялась. И понимала, что Бен может многому научить.

Буги, с ярко выраженным эмоциональным и телесным диалогом партнеров, погрузили меня в невероятно жизнерадостный и эротичный драйв, из которого не хотелось выбираться. «I can Boogie, Boogie Woogie», – бормотала я. А коротышка Бен вырастал на глазах. Вертел меня на спине. Подбрасывал, заставляя делать сальто. Мы терлись спинами, ягодицами, животами. И все повторялось, ускорялось и усложнялось, делаясь еще более эротичным. Его прикосновения заводили меня. И так сильно, что чудилось: еще немного и прилюдно испытаю оргазм. Казалось, знаю его сто лет, понимаю и люблю, как никогда никого не любила. Взаимопроникновение было настолько глубоким, что лечь с ним в постель или сделать это стоя, было таким же естественным и необходимым, как продолжение замечательного танца, могучий свинг которого раскачивал яхту. Только Конифф допел свою «Чаттанугу»…

Мне казалось, у меня отняли любимую игрушку. Бен, похоже, понимал это, потому что предложил осмотреть яхту и сказал: – Come with me. I will stand you something extraordinary.[14]

Я с радостью согласилась и влюбленно смотрела на американца, который чуть не поимел меня только что в танце на палубе.

– Можешь вести себя с ним плохо, – напутствовала Дарвин. – Забудь о предрассудках.

Я двинулась вслед за Беном. Про картины, ковры на полу, деревянные стены, навигационное и компьютерное оборудование, посуду, доспехи для подводной охоты, бар и прочие прелести помню смутно. Мешали ноги, что вдруг стали длинными и нерешительными, и подкашивались всю дорогу или заплетались. Приходилось контролировать состояние суставов, чтобы не свалиться на очередной ковер с логотипами яхты. В одной из кают Бен подвел меня к

[14] Пойдем. Угощу чем-нибудь.

дивану, обитому кожей, с кучей таких же подушек и, как тогда, в крабовом туалете, осторожно подтолкнул в спину. Я пришла в себя, оглянулась: он смотрел снизу вверх и улыбался. Теперь я знала наверняка: he's gonna long for me.[15] И не ошиблась.

– Let's bind our acquaintance with intercourse, – сказал Бен и добавил: – You are sure to like it.[16]

Дальнейшее, несмотря на потрясный интерьер, происходило незатейливо, как в детском доме, когда тебя трахает завхоз или мальчики из старшей группы, и ни шло, ни в какое сравнение с танцем. Он ласкал как-то нечленораздельно. А я лежала на диване и помнила про большой клитор, и что гадкий утенок по жизни. И, следуя инструкциям Дарвин, сдержанно имитировала страсть.

– Oh, fuck! – сказал Бен. – You are laying as a log. You gotta move and moan. Move and moan. Get it?[17]

Я вильнула хвостом и усилила рвение. И старалась не думать, почему Бен, такой фантастичный партнер в танце, так банален в сексе. Почему не заводит разговор про другую воду, а талдычит что-то из детской считалки: *«Back and forth and come again. Feel so great I can't explain»* – Возможно, в тот момент ему было не до того, или я не годилась в сексуальные партнеры. «Значит, – думала я, не забывая постанывать, – теперь он потащит Дарвин осматривать яхту».

Американец управился с делами довольно быстро. Но меня это не сильно доставало. Я была счастлива тем, что попользовался и шлепнул по заду. А он потянулся к бутылке, которую предусмотрительно захватил с собой. Отпил, предложил мне. Я сделала вид, будто только что упала с небес на землю и надолго припала губами к горлышку в старании прочистить мозги. Виски лился в рот и слегка побулькивал, скрадывая количество выпитого. Бену надоело ждать. Он отобрал бутылку. Помог одеться. Снова шлепнул по заду и пропел одними гласными, закартавив по-французски в конце:

– In every women must be le grain folie.[18] Хорошая девочка. Ступай! – И вдогонку у двери: – Кто из вас прячет артефакт?

Я остановилась:

– У меня кроме камня за пазухой ничего нет. – И подумала: «Пусть снова ищет». И двинулась обратно, задирая подол и умирая от желания отдать ему навечно контейнер с другой водой и себя в придачу, хоть враг он и страна его враждебна нашей. Точнее, нашему верховному правителю, непредсказуемому и задиристому, нацелившему ракеты на Бена и его страну. А они нацелили свои на нашу. И не спрашивает никто, почему Америка – это плохо? Почему их страна враждебна? А старания власти объяснить, почему, настолько смехотворны и абсурдны, что делают эту страну еще более привлекательной. Уж лучше бы оставили все, как есть, без объяснений: враждебна – и враждебна. Мне казалось иногда, будто наш вп все еще живет в послевоенной северной столице и командует дворовыми мальчишками. А мальчишки периодически объединяются, чтобы проучить его, а заодно и народонаселение, когда он слишком расходится.

Только плохому мальчику Бену не нужен был инсайдер вроде меня.

– На тебе его нет. Внутри, тоже. Значит, артефакт у Доры. Поможешь найти – не пожалеешь. – заверил он. – Put that in your pipe and smoke it![19] Жизнь в Соединенных Штатах не сравнить с прозябанием в сраном урюпинске. Мы – доминирующая нация на планете. Только

---

[15] Он собрался поиметь меня.

[16] Займемся любовью, чтобы закрепить наше знакомство. Тебе понравится.

[17] Лежишь, как бревно. Двигаться надо и стонать. Сечешь?

[18] В каждой женщине должна быть (англ.) изюминка (фр.)

[19] Запомни это.

власть наша ненавязчива и лучше вашей в семь раз… или семьдесят. Теперь ты – мой трофей. Согласна? Деньги – ерунда. В случае успеха тебя пригласят в ложу масонов Соединенных Штатов… самую влиятельную и богатую ложу мира. Действуй!

Я не стала прятаться за камнем, что всегда держала за пазухой, и отправилась действовать. И понимала, что Бен, даже в случае форс-мажора, не даст умереть с голоду в дорогих ресторанах. И просто, как порог, перешагнула грань бесстыдства или нравственности, что было для меня тогда одним и тем же, и уже не тяготилась вероломством, необходимостью врать или красть. И более всего на свете хотела отдать Изделие, так мы называли другую воду, Бену, чтобы открытие принадлежало всем, а не только постояльцам кремля. Чтобы они не жили вечно во главе с верховным правителем, который станет вечным верховным правителем. И в аббревиатуре ввп видела не просто случайность, но зловещую обязательность. Какую-то совершенно безумную необходимость, пугающую своей настойчивостью.

Дарвин с Марчеллой сидели в шезлонгах и спорили, перебивая друг друга, о принципах научной этики. Я села рядом, разыскивая глазами бутылку.

– Запрет на исследования в науке – всегда плохо, – сокрушалась Дарвин, борясь с алкоголем в крови. – Независимо от мотивов запрета. Будь то лженаука или шарлатанство… или большая политика. В нашей стране для этого находили десятки причин: от чуждой народонаселению буржуазной идеологии до предательства интересов родины. Это касалось генетики, продажной девки империализма; трансплантологии, замешанной на торговле органами; кибернетики… Запреты не ограничивались наукой и распространялись на литературу, музыку, живопись… Власть изнуряла и продолжает изнурять запретами себя и свой народ. И усердно карает нарушителей… Сейчас – тоже. – Паузы в предложениях Дарвин заполняла осторожными глотками из бутылки, которую держала возле ноги.

– Шарлатанство… оно и есть шарлатанство, – вяло оппонировал Марчелла, поглаживая Дарвинов живот. – Надо иметь смелость называть вещи своими именами и не тратить миллионы на заведомо мусорные исследования.

– You're broke! – взвилась Дарвин. – Ковры-самолеты, преодолевающие земное притяжение, всевидящие зеркала, змеи-горынычи – она так и сказала: serpent-dragons, – губительные лучи, сапоги-скороходы, искривляющие пространство и время, телекинез, телепортация, телепатия… Весь этот замечательный сказочный фольклор, феномены, кажущиеся игрой воображения, – она потянулась за бутылкой, – становятся реальностью, как стала ей другая вода, существование которой ты публично отрицал сегодня, причисляя ее к лженауке…

Она снова отпила:

– Мир становится все глобальнее. В нем уже нет места простым бинарным противостояниям: «замерзает – не замерзает». Бен понимает это и роется в моей сумке в поисках другой воды, как до него перетряхивали ее содержимое в полицейском участке.

Дарвин замечает меня у ноги вместе с бутылкой и обрушивает свой гнев: – Где ты шлялась, Никифороф, мать твою?!

– Была на посиделках с Беном в гальюне, – отбиваюсь я. – Why the fuck not?[20] Обошлось без полиции в этот раз.

– Мы возвращаемся, – говорит Дарвин.

– Не желаете осмотреть яхту, Дора? – предлагает Бен. – Ваша спутница осталась довольна экскурсией. Правда, Никифороф?

Язык чешется от желания сказать гадость, но я молчу. А Дарвин… Дарвин останавливает научную дискуссию с Марчеллой и милостиво соглашается.

«Что она себе позволяет?», – молча ужасаюсь я и понимаю: несмотря на все научные заслуги, Дарвин никогда не была нравственным идеалом эпохи, даже такой, как наша сей-

[20] А что, нельзя?

час. Однако то, что она сделала и собирается сделать… на чужой территории… с разными людьми… с интервалом в несколько часов… Или компенсаторное чувство морального превосходства над противником с Запада полностью исчезло у нее за ненадобностью, как у меня?

Дарвин улыбается:

– Don't worry, Nikiforoff. Of course, he is gonna screw me over but the choice of a pose is mine.[21]

Дарвин возвратилась через несколько минут, строгая и недоступная: поразительная функциональность, заключенная в совершенные формы. Я начинаю понимать Фрейда, считавшего, что анатомия – это судьба. А еще понимаю, что позу в этот раз выбирала не Дарвин. А она шепчет мне в ухо:

– На Казанову не тянет твоя стодолларовая купюра. Собака средних размеров с повадками большого пса. – Я не сразу понимаю, про что она. А Дарвин садится на палубу возле Марчеллы, поправляет лохмотья и говорит, улыбаясь: – Прости, что долго. Объясняла мистеру Франклину отсутствие другой воды при себе. Проблема закрыта. Можем ехать обратно.

– Можем, – соглашается Бен. – Но прежде, девочки, вы скажете, где прячете артефакт. Просто скажете. Никто не станет отбирать его. Слово джентльмена. Или расскажете, как вам удалось получить живую воду?

– Так мы вам и поверили, – говорит Дарвин. – Вы ведь не верите нам? – Вытряхнула содержимое сумки на палубу и босой ногой начала перебирать рассыпавшиеся предметы. Помедлила. Сняла блузку, лифчик и, перешагнув бесстыдство, принялась стягивать штанишки…

– Нет, нет! – всполошился Марчелло. – Я знаю, там ничего нет.

«Плохо ты проверял, итальяшка сраный», – подумала я, не решаясь вмешаться.

– У такого проект, как этот… здесь… на яхте, должен быть внятный заказчик, – сказала Дарвин, стоя перед Беном с трусиками в руке. – Ты заказчик? Какой твой интерес, чувак? – Будто не знала и переступала длинными непредсказуемыми ногами, что жили всегда сами по себе: то задумчиво, то тревожно, то невероятно распутно.

Бен медлил, переминался, ждал чего-то. «Моего содействия», – вспомнила я. Он ждал, чтобы я осмотрела Дарвин per vaginum и per rectum, тоже. Я была готова сделать это, понимая, что контейнера у Дарвин нет. И сгорала от стыда и желания. И торжествовала, что прямо сейчас прилюдно унижу Дарвин и сведу наконец, счеты за большой клитор. Встала. Кто-то протянул мне упаковку examination gloves. Натянула перчатку. Двинулась к Дарвин. И понимала, что осмотрю ее. Даже, если силой. И тогда они оставят нас в покое.

Только Дарвин думала по-другому. Заорала что-то матерное, набросилась на меня и потащила к леерам, собираясь выбросить за борт. As if on purpose,[22] я не умела плавать и в сухопутном урюпинске посещала только теннисные корты. Поэтому судорожно цеплялась, за что придется и за Дарвин тоже, как за последнее спасение свое. И уже перевесившись за борт, и продираясь через нагромождение Дарвиновых fuck и fucking, поняла, что начальница обвиняет меня в краже упаковки с Изделием. Я совсем ошалела, перестала сопротивляться и тупо смотрела на нее.

Мне казалось, абсурд происходящего обусловлен эффектами другой воды, снова ставшей чем-то вроде волшебного увеличительного стекла. И рядовые события – я надеялась, это была шутка Дарвин, никогда не отличавшейся рассудочным поведением – приняли масштаб вселенской несправедливости и обмана, не оставив места для воображения. И теперь уже ад на небесах казался шведской деревушкой.

---

[21] Остынь, Никифоров! Он сможет поиметь меня, если сильно захочет, но выбор позы останется за мной.

[22] К сожалению.

Когда на палубе появился молчаливый капитан с ружьем для подводной охоты в руках, я не сразу поняла, что это ружье. Лишь сменив планетарный масштаб на обычный земной, увидела, что ружье направлено на Дарвин. Страх прошел. Я понимала, что это не избавленье. Но обвинение в краже другой воды или возможность утопнуть в океане неподалеку от берегов Флориды, были в семь раз хуже смерти от гарпуна.

Дарвин ослабила хватку, повернулась к публике и заорала, нарисовав на себе мишень:

– Вы еще не нюхали пороха по-настоящему, чуваки! Положи стрелялку на палубу, fucking dolt! У нас в урюпинске, если взял пушку в руки, сразу начинай палить. Иначе тебя самого пристрелят. Понял? А у тебя кишка тонка. Вали отсюда! Лучше за борт и эту суку забери с собой! This fucking bitch! – повторяла и повторяла она, размахивая трусами, и не стеснялась в выражениях.

Но молчаливый капитан не собирался прыгать за борт. И ружье не опускал. И переводил его с Дарвин на меня и обратно, на Дарвин. Я ужасалась размерами торчащего гарпуна и представляла, как легко он сможет пройти сквозь тело Дарвин, изуродовав его до неузнаваемости. И через мое тоже. И не вынуть его, не извлечь потом. И печалилась этим. А Бен говорил что-то требовательное, но его никто не слушал, потому что без ружья.

– Хочешь, чтобы тебя услышали, молчи, – донеслось до меня, и подумала, продолжая печалиться: «Либо цель выбрана неверно, либо средства». Тогда я еще не знала, что печаль, вызываемая превратностями судьбы, для некоторых есть возвышенное состояние духа. И, чтобы успокоиться, повторяла шепотом:

– Все хорошее впереди.

Дарвин услышала:

– Это и тревожит больше всего.

Я успокоилась. Совсем. Мне показалось, что все происходит понарошку, будто участвую в модном мюзикле. И актеры хороши, и прекрасны декорации. И свою роль в первом акте я отыграла успешно, хоть не было аплодисментов и цветов. Даже отсутствие музыки не мешало.

А Дарвин, привычно опережая всех на корпус, продолжала препираться с Беном. Я прислушалась.

– Артефакта при мне нет. Это факт на лицо или х… на рыло, как говорят у нас в урюпинске, – загребала аристократка, не брезговавшая матерными текстами в экстремальных обстоятельствах. И ссылалась всякий раз на Ломоносова, заявившего однажды, что на матерном русском можно и с Богом, и женщиной, и с военными, с кем угодно. – А делиться с вами секретами другой воды не стану. Не потому, что лавры еще не скошены. И не потому, что безумно люблю свою страну. Наоборот. Мне всегда было стыдно за нее. Еще в детском доме, куда определила меня страна, предварительно сгубив мою мать, – выкрикивает она, размахивая ресницами.

– Вашей стране, какую власть не дай, все равно будет плохо, – миролюбиво замечает Бенджамин Франклин. – У вас на протяжении нескольких столетий одна власть спешит сменить другую. Ну и что? На смену алчным и жестоким правителям приходят такие же, только еще более вороватые и кровожадные.

– Fuck you! – начинает заводиться Дарвин. – Да, мне стыдно за власть, за народ, который давно растерял достоинство и нравственность…

«Господи! – подумала я. – Она еще смеет говорить за нравственность».

– Это, конечно, неприятно, – заметил Бен. – Но такова реальность, и вам в ней жить. Вернее, вы в ней все время живете, только жмуритесь…

– Жмуримся, потому что по-другому нельзя. Нельзя столетиями глазеть, как власть прибирает к рукам или уничтожает все живое вокруг: просвещение, науку, культуру, а теперь еще и бизнес. Однако худо-бедно, но мы живем, потому как вместе с властью плюем на закон и пренебрегаем конституцией. И полагаем себя могучей державой. Если бы нам ваши права и свободы, мы были бы в семь раз богаче, счастливее и сильнее. – Дарвин победно смотрит на

Бена. – Молчишь? А если бы наша власть завелась в Америке, там было бы в сто раз хуже, страшнее и беднее, чем у нас, потому что ко всему остальному вы законопослушны. Через десяток лет ваша страна стала бы вторым Зимбабве. Продолжать?

– Лучшее правило для власти – не слишком управлять. В вашей стране этот принцип, похоже, не известен, – говорит Марчелло. Улыбается и старается снова завладеть ногой Дарвин.

– В вашей стране, девочки, с вами бы никто не церемонился, как мы здесь. – Бен продолжает тему другой воды. – Не отдадите добровольно артефакт бандитам или власти, отъем будет сопровождаться горами трупов и морем пролитой крови.

– В науке все по-другому! – возражает Дарвин. Я сразу вспоминаю, как атаковали меня два придурка-бандита пока лежала в палате после центрифуги, в которую затолкал Тихон. Если бы не старания отца Сергия, вряд ли сейчас дрейфовала на яхте… Как покончил с собой, а скорее всего, был убит Федор Белоглазов – Дарвинов бойфренд. Эту историю, наделавшую в свое время много шума, рассказывала мне сама Дарвин. С перерывами. Десяток раз. Многое я узнала от друзей Белоглазова, когда мы приезжали к ним в институт уже после его смерти на научные конференции. Пресса начала мусолить эту тему еще во времена перестройки и, как всегда, врала. И участники той трагедии, ученые и офицеры кгб, выступали с противоречивыми заявлениями, давали лживые интервью. Не думаю, что знаю в этой трагедии что-то большее, чем другие. Только порой просто цепенею.

Профессор Федор Белоглазов был настоящим киношным героем того времени. Высоким, красивым, с большим лбом и сухими пальцами музыканта. Он шел по институтскому коридору в развевающемся белом халате и молодые научные сотрудники с вопросами и без просто припадали к его стопам. Типичный советский ученый, молодой, талантливый и энергичный, которому все – если без матерных текстов, но в эвфемизмах – по плечу.

Увлекшись проблемой искусственной крови, он оставил престижную работу в столичном институте и перебрался в маленький городок, где в ту пору были сосредоточены некоторые научные заведения академии наук.

Искусственная кровь обладала высокими транспортными свойствами по кислороду, что были выражены сильнее, чем у гемоглобина естественной крови. Созданный Белоглазовым и его сотрудниками препарат получил название «голубая кровь». У препарата было блестящее будущее в качестве реального кровезаменителя. А у Федора и его группы – не менее блестящая перспектива получить Государственную премию.

К несчастью, «голубая кровь» приглянулась высокому чиновнику из президиума ан ссср. Тоже молодому и энергичному, и с хорошими связями. Тот чиновник сделал все, чтобы заполучить препарат вместе с группой Белоглазова. Все, но чужими руками. Чьими – ежу понятно: кгб и президиума ан. Федора травили на всех углах из-за распущенности в быту, из-за нечистоплотности, из-за подтасовки фактов в науке. Обвиняли в торговле наркотиками, автомобилями, в шпионаже. Мало кто мог выдержать такое. Но Федор держал удар… А Дарвин, отложив Тихона на потом, почти все время проводила с Федором в городке под столицей, не обращая внимания на его жену, на местную подругу, только что родившую Федору сына. Ей тогда было, как и ему, на все плевать. К сожалению, это не могло продолжаться долго. И молодой советский ученый, остроумный и дерзкий, сокрушительно обаятельный и отважный, влюбленный в науку и женщин, растерял желание изменить мир. Взял и повесился в одночасье на одинокой даче, не оставив ни записки, не позвонив…

Дарвин долго плакала. Говорила, что его повесили. А тот безымянный высокий чиновник был так напуган случившимся, что враз перестал интересоваться препаратом и Федоровой группой… Я была почти уверена, что чиновник тот.

– Тихон…

– В вашей стране просто не было серьезных научных открытий, – напомнил о себе Бен. – Изучение сексуального поведения домашних гусей в Нечерноземной полосе не произ-

ведет должного впечатления на членов Нобелевского комитета. А если вдруг повезет и кто-то откроет что-то важное очень, как вы – другую воду, власть или бандиты, или вместе придут и отнимут. И открыватели будут благодарны, что остались в живых. Модный ныне в вашей стране отъем властями институтской недвижимости – не в счет. – Бен остановил монолог. Улыбнулся. Меня начинала бесить дурацкая привычка американца улыбаться по любому поводу. Я не понимала: пугает или собирается действовать?

А Бен не стал скрытничать:

– Мы сейчас сбросим за борт успешного ученого вашей страны Дору Дарвин и станем держать там, пока не вспомнит, как ей удалось получить живую воду? – Бен повернулся к юристу: – Come on, man!

«Господи! – думала я. – Его интересует не столько Изделие, сколько технологии его получения. Как я была права тогда».

Голую Дарвин обвязали по талии длинным тросом. Взяли за руки-за ноги и потащили на корму Приподняли, качнули и бросили в воду привязав свободный конец к лееру Марчелла суетился неподалеку выкрикивая что-то на родном языке. Ситуация набухала.

Я не могла этого вынести. Райская жизнь в Майами, которую сулил Бен, не стоила утопшей Дарвин. Подобрала с палубы гарпун. Прицелилась в доцента и нажала на курок. Ничего не случилось. Стрела не прошила доцента. Она даже не вылетела из ствола. Бен забрал ружье. Похлопал по спине: – Хорошая девочка!

Мои духовные практики под руководством Дарвин никогда не предполагали роли жертвы в качестве выбора. Только помнила: чтобы получить, что-то хорошее, надо тоже отдать, что-то очень хорошее. У меня оставался единственный выход, похожий на протест кита, выбросившегося на берег. Я не стала искать другой. Подошла к леерам. И, чувствуя себя Катериной из «Грозы», прыгнула. И сразу пошла ко дну. Держала рот закрытым, сколько могла. А потом, похоже, открыла, потому что соленая вода хлынула в меня, будто спустили воду в унитазе. Мучительно хотелось кашлять. Еще сильнее хотелось дышать. Мелькнула мысль про жидкий фторуглерод. Крысы, погруженные в него, могли выживать часами. Это была последняя мысль. Возможно, не самая разумная, но последняя. Но потом в гипоксическом мозгу появилась еще одна – про Дарвин, что болталась на веревке в океане. И хоть душа была переполнена океанской водой и злобой, не пропускавшей сострадание, пожалела ее. Больше, чем себя.

А мозг, пребывающий в состоянии фимоза из-за глубокой гипоксии, отключился окончательно. Слоган: «Крыша поехала» был уже не про него. Не стало крыши. Без коры, живя одним спинным мозгом и немного подкоркой, я испытала незнакомое чувство умиротворенности, будто переселилась в ту знакомую шведскую деревушку: благостную, благополучную и безопасную. Белобрысые шведы окружили меня и улыбаясь, и переступая длинными ногами, наперебой приглашали к себе то ли пожить – я сразу вспомнила ходячий тезис про шведские семьи, – то ли потанцевать. И увидела звезды на небе, хоть солнце еще не село, будто смотрела из колодца.

И вдруг прямо из колодца попала… Черт! Я не верила глазам. Напротив, в глубоком низком кресле сидел верховный правитель – вп… живьем… в светлых вельветовых джинсах, в коричневой рубахе навыпуск и смотрел на меня, как смотрят на собаку неизвестной породы.

– Чай будешь? – спросил он.

– Буду.

– Чего стоишь тогда? Садись. – И кивнул на кресло.

Я переминалась босыми ногами подле журнального столика и глядела на ярко-белую латексную перчатку examination glove на правой руке, на лужу, стекавшую с мокрых одежд на паркет, и не решалась сесть. У меня не было опыта в интерпретации столь ярких визуальных впечатлений, как созерцание живого вп. Голова так сильно шла кругом, что никак не удавалось сделать апгрейд.

Кто-то из присутствующих взял меня за руку, подвел к креслу и усадил, надавив на плечо.

– Тебе какой? – поинтересовался верховный правитель и, не дожидаясь ответа, налил в чашку тонкого фарфора зеленый чай. Добавил ложку меда, придвинул тарелку с печеньем и снова посмотрел.

– Где у тебя другая вода?

Я не знала, что ответить, поэтому сказала:

– Во мне… внутри… только против воли ее не найти, даже если вскрыть, как вскрывают патологоанатомы, а потом изучить протокол…

– А чего сама-то по доброй воле не отдашь? Ты ведь любишь свою страну и желаешь ей процветания. Я знаю. Иначе бы не сидела здесь, – принялся опылять меня верховный правитель, будто ровня ему и сидим в кафе, дружески беседуя за патриотизм. – Или замыслила продать американосам? – Он вдруг так заметно ужесточил лицо, что теперь чай из тонкой чашки пил совсем другой человек. Только вельветовые джинсы и рубаха, что не заправлена в штаны, были прежними. – Отвечай! – Он сверлил меня глазками, будто скважину бурил на шельфе Арктики в поисках нефти.

– Зачем она вам? – спросила я, понимая, что рою себе могилу. И захотела обратно в океан, чтобы утонуть и никогда не появляться в этом кафе.

– Для меня жизнь – не настолько бесценный дар, вечное владение которым есть счастье, – принялся лицемерить вп. – Другая вода, как я понимаю, способна принести, куда большее счастье стране, обеспечив невиданное процветание и такую же мощь. Расскажи про свечу из другой воды, что горит, не переставая, где-то в городе у вас, – попросил вп. – Сколько она уже горит?

По тому, как я вытаращила глаза, он понял, что не знаю ничего про свечу. И уже не возвращался к этой теме. Но я не верила. А он снова говорил про будущее, исказив лицо искренностью и добротой. Только у нас были разные мнения на этот счет. Мое ему было совершенно не интересно, как, впрочем, и его – мне.

Подумав: «Hit or miss»,[23] – я сказала: – Тому, во что вы нас превратили, нет места в будущем. – И засобиралась обратно в океан, понимая, что теперь на суше мне делать нечего. Совсем…

Никогда бы не стала писать про это, если бы Бен с доцентом-капитаном не вытащили меня из воды. Уложив на палубу и выдавив воду из легких, они принялись поочередно дышать рот-в-рот.

К счастью, слишком соленая океанская вода, заполнившая легкие, не вызвала отека. Я быстро пришла в себя. Крыша встала на место, и лишь сильный кашель напоминал случившееся. Открыла глаза: Марчелло с юристом в морщинах, имени которого так и не вспомнила, стояли надо мной и улыбались.

Кашляя и выплевывая воду из легких, я поняла, что успела унести ноги и прохрипела:

– Where's the fucking bitch, gentlemen?

– In the ocean, – успокоил доцент. Я оглянулась. На корме, свесив ноги за борт, сидел Бен и что-то кричал Дарвин, волочившейся на веревке за яхтой. А яхта двигалась с крейсерской скоростью, и Дарвин приходилось несладко.

Я подумала, что зло давно изжило в себе инфернальное начало, поменяв свою природу. Люди научились вершить зло самостоятельно, без помощи дьявола. Даже превосходить его в подобных делах. Кто-то из классиков даже заметил по этому поводу: «Абсолютное зло благотворно в нравственном отношении». На английском сформулировать это не смогла и заорала, как недавно Дарвин, только попроще:

[23] Была, не была.

– What the fuck, dolts?! – Что означало: я расскажу, где прячу контейнер с артефактом, а вы достанете Дарвин из воды. В тот момент я могла наобещать все, что угодно, лишь бы спасти ее. Похоже, у них тоже не было выбора, потому что остановили двигатель и принялись подтягивать Дарвин к корме.

За этим занятием нас застал катер береговой охраны. Уже в темноте он подошел вплотную, пугая сиреной. Включил прожектора и заорал:

– Береговая охрана Соединенных Штатов! Не пытайтесь скрыться! Оставайтесь на месте!

Я оглянулась: Бен с юристом остановили подъем Дарвин и начали травить трос, которым была обвязана моя начальница.

Алкоголь в крови, океанская вода в легких и бесконечный психологический стресс с чередой безумных событий делали свое дело. Крыша снова поехала, но как-то привычно, по накатанной дороге. Я воспринимала происходящее откуда-то сверху, с галерки, будто не была участником затянувшегося мюзикла. Хотя во всю старалась докричаться до прибывших погранцов, чтобы объяснить про Дарвин, которая болталась за кормой. Но они были заняты другими делами: проверяли документы, корабельную лицензию, говорили про права, про юристов, осматривали каюты, камбуз, препирались с Беном…

Я вдруг вспомнила кто автор «благотворного абсолютного зла»? Томас Манн, конечно, в «Романе одного романа». И, встав на литературные рельсы, покатила дальше. Теперь я была Дульсинеей Тобосской и терпеливо ждала появления рыцаря на коне. Борца с несправедливостью и ветряными мельницами… И увидела Тихона. И подумала: «Слава Богу! Барин приехал». И простила ему все. Подползла, ткнулась головой в колено. Хотела лизнуть, но сил хватило лишь на то, чтобы мотнуть головой в сторону кормы…

Я переместилась с галерки в незнакомый, как у Лермонтова, провал. Скорее, в пропасть с отвесными стенами, по дну которой бежал ручей с другой водой. По берегам сидели бигли из институтского Вивария и в месте со мной наблюдали продолжающееся представление.

Несмотря на старания, никто не обращал на меня внимания. Я пыталась кричать, но голос пропал. Встала на четвереньки. Добралась до кормы… и увидела Дарвин, что продолжала барахтаться неподалеку. Попробовала подтянуть ее ближе. Не смогла. И тогда, размахивая руками, хватая озабоченную палубную публику за одежды, попыталась заинтересовать их судьбой Дарвин. И чувствовала себя глухонемым испанским мальчиком, который жестами старается объяснить, что его зовут Хулио.

И чем сильнее старалась, тем отчетливее понимала, что спасение Дарвин – дело рук самой Дарвин. Потому как ее спасение не являлось их первоочередной задачей. Это было так очевидно абсурдно, так невероятно жестоко, что задроченный, весь в дырах от происходящего, мозг перестал воспринимать всерьез толпу на палубе и Дарвин за кормой. И я вместе с мозгом снова отправилась в знакомую пропасть к биглям и ручью с другой водой на дне, чтобы понаблюдать за звездами.

Возможно, благодаря этой воде я снова пришла в себя. Села. Оглянулась. Тихон на повышенных тонах продолжал базар с американцами. В кресле полулежала Дарвин в мужском халате. Вдоль борта выстроилась публика из береговой охраны.

Как недавно до Тихона, я подползла на четвереньках к Дарвин. Принялась тормошить, причитать что-то. Она открыла глаза. Улыбнулась. Коснулась щеки:

– Нас так просто не потопить, Никифороф… – Она говорила что-то еще, но мне сильнее всего хотелось, чтобы Дарвин не убирала руку с моей щеки.

Только, похоже, прибывшая публика не смогла договориться с нашей. Тихон сказал что-то чувакам из береговой охраны. Те подхватили нас с Дарвин и потащили на свой катер. Я была на вершине блаженства и торжествовала…

А Дарвин не собиралась праздновать победу. И что-то говорила Тихону, заламывая руки и плача. А потом встала на колени. Только Тихон не стал внимать ей. Лишь наблюдал, как публика из береговой охраны с трудом удерживает ее.

Мы отошли от яхты Бена на приличное расстояние. Дарвин с синими губами сидела на досках палубы. Всматривалась в чернильную темноту за бортом. Периодически поворачивалась к Тихону и говорила: – Пожалуйста! Не надо, папа!

А Тихон, не желая вступать в перепалку, матерно и зло молчал. А потом сказал, не повернув головы:

– Давай, Колян! Покажи им, где крабы зимуют. – Повернулся к Дарвин: – Открытие должно принадлежать тем, кто его совершил, а не тем, кто заплатил, перекупил или отнял.

Тихон говорил правильные слова: справедливые и честные. Только за ними ничего не стояло кроме лжи и вероломства, как у главного постояльца кремля. Но мне было не до анализа. И какой смысл сомневаться в том, чего не существует. Я просто согласилась с ним и машинально искала английский аналог. И не находила. И перевела один к одному. А пока переводила, вспомнила, как баба Фаня, вечно пьяная кастелянша в нашем детском доме, сказала однажды, что большие открытия должны принадлежать человечеству. Всему! И что открытие законов небесной механики никто не финансировал, как и появление генетики или теории вероятности… И сразу прогремел взрыв – там, в чернильной пустоте, где дрейфовала яхта Бена с Марчеллой на палубе…

Глава 2

Тема структурированной воды, не замерзающей при отрицательных температурах и теоретически обладающей целым рядом кардинально измененных свойств, всегда была одной из тягостных и сомнительных проблем в современной науке. Занятие этим авантюрным делом априори считалось шарлатанством, как считаются шарлатанством успешные сообщения о создании вечных двигателей или контактах с обитателями других планет.

Однако десять лет назад на деньги неведомых спонсоров ТиТиПи построил в маленьком урюпинске огромный институт нормальной и патологической физиологии с прекрасной клиникой, рассчитанной на город с трехмиллионным населением. А потом, заручившись поддержкой постояльцев кремля, с которыми, по слухам, водил дружбу, создал лабораторию биофизики клетки. В ней молодой ученый профессор Дора Дарвин начала проводить работы по структурированию воды. Дюжина других исследовательских лабораторий института была призвана служить научным интересам Дарвин.

Я давно обратила внимание на странный бзик ТиТиПи покупать дорогостоящее чужеземное оборудование, даже если оно не очень требовалось в данный момент. Он покупал и покупал: компьютерные и магнитно-резонансные томографы, оборудование для ангио- и коронарографии, стентирования, эндохирургии, общей хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, анестезиологии и реаниматологии, ультразвуковой и функциональной диагностики, клеточных технологий, биохимических и биофизических исследований. А еще постоянно приобретались всевозможные расходные материалы. Аппаратуру уже негде было размещать. И строились новые помещения, и корпуса под диагностику, а потом под лечение. Институт, похожий на строительную площадку, постоянно достраивался и расширялся. И чем больше покупалось оборудования, тем больше денег становилось у ТиТиПи. И не только по слухам. Возможно, у него были и другие источники доходов. Однако для тех денежных средств, которыми, по сведениям журнала Forbs, он располагал, владение урюпинском, как источником доходов, было явно недостаточным.

Постепенно я начала понимать стратегию ТиТиПи в этом бизнесе. Ему не стоило труда задурить головы постояльцам кремля идеями о фантастических возможностях другой воды, обещающей бессмертие, которого так не достает этой публике. Он поливал им из Достоевского, что хорошая идея всегда должна быть выше возможностей ее претворения в жизнь. Возможно, в литературе именно так дело и обстоит. Только в науке все по-другому.

Несмотря на относительную молодость и пробелы в воспитании, верховный правитель, как и все автократы, мечтающий о бессмертии, повелся на предложение ТиТиПи. А тот выложил информацию об одном из крупнейших открытий десятилетия – теории запрограммированного старения, как инструменте эволюции. В соответствии с этим самурайским законом, при включении программы клеточной смерти, клетка обязана «сделать себе харакири» и погибнуть. А другая вода, как ожидалось, заблокирует запуск программы старения. Только Тихон не сообщил, что с помощью этой процедуры природа заставляет нас уходить, освобождая место молодым. Что основным биологическим смыслом медленного угасания является ускорение эволюции.

А вп не пожалел денег на создание института где-то у черта на куличках, в урюпинске, подальше от глаз: «в деревне, в глуши, в Саратове», как у Грибоедова. Хоть знал прекрасно, что наука сегодня – дорогостоящая вещь. И что давать деньги на удовлетворение научного любопытства неприлично. Но народные гроши… кто их станет жалеть или считать. Власть подотчетна только сама себе. А на кону в случае успеха – вечная жизнь, без болезней и старости. И не догадывался, что в науке существуют тупиковые направления, которые ни постичь, ни преодолеть. Но Тихон не стал просвещать его на этот счет. А может, свита не позволила. Или не хотел.

Или сам не знал, потому как его дорога в науку по большей части была выложена поддельным булыжником. Зато не побрезговал попользоваться открывшимися возможностями по полной. И напрочь забил на существование не всегда очевидной связи между получением денежных средств, новыми знаниями и деградацией научной этики.

И контракт между администрацией верховного правителя, выступающей в роли «заказчика», в лице «представителя заказчика» – пз, и институтом, в лице директора Тихона Перевозчикова, называемого «исполнителем», был подписан. В соответствии с текстом договора все права на будущее Изделие, включая право собственности, должны были принадлежать «заказчику».

Думал ли верховный правитель и его челядь, что вся система ценностей, все, что делает человека человеком, рухнет и потеряет всякий смысл, если он будет жить вечно. Если человек никогда не умрет, зачем ему жертвовать собой? Зачем гуманность, сострадание? Разве вечная жизнь – не псевдоним вечной старости, бесконечно длящейся дряхлости и немощности? Каково будет вечножителю сознавать, что такое безрадостное существование ниспослано ему навсегда. И будет завидовать свифтовским долгожителям-струльдбругам, которые, по сравнению с ним, выглядят просто счастливцами. «Смысл жизни и смысл смерти – вещи взаимосвязанные, – думала я. – Если смерть теряет смысл, то и жизнь теряет смысл». Вот такой косяк…

Когда Дарвин приняла меня на службу в свою лабораторию три года назад, работа по структурированию воды шла полным ходом. Была собрана почти вся мировая литература по этому вопросу, достаточно фуфлыжная на мой глаз – full bullshit! Речь шла о целебных свойствах «холодной плазмы». О наличии памяти у воды. Научные споры вокруг понятия «память воды» разразились еще в 1988 г. после скандальной публикации в № 333 журнала Nature статьи известного французского иммунолога Жака Бенвениста. Его оппоненты не без оснований считали, что подобное утверждение нарушает все существующие научные представления о законах химии. «Нет никаких оснований утверждать – писали они, – что в воде существует молекулярная информационная матрица, которая могла бы служить долговременной памятью о воздействиях на воду». Тем не менее, Нобелевский лауреат вирусолог Люк Монтанье в интервью тому же журналу высказался в защиту Бенвениста, как учёного, который был отвергнут всеми, хоть смотрел далеко вперёд и думал правильно. А редактор Nature заметил по этому поводу: «Наш ум не столько закрыт, сколько не готов изменить представление о том, как устроена современная наука».

Японец Эмото Масару опубликовал серию работ о способностях воды впитывать, хранить и передавать человеческие мысли, эмоции и любую внешнюю информацию. Однако научное сообщество признало и эти исследования подделкой.

Появились весьма сомнительные термины: «мигающие кластеры», «аквакоммуникация», описывающие особые свойства структурированной воды – так называемой клеточной цитоплазмы, входящей в состав тканевыхжидкостей млекопитающих. Короче, феномен воды исследовали ученые разных стран, разных континентов. Все они пытались структурировать ее и выражали осторожный оптимизм по этому поводу. Особенно преуспели наши соотечественники, у которых тяга к сверхъестественному в крови, как и у руководителей страны. Они стали первооткрывателями явления «аквакоммуникации», на основе которой была разработана методология и технология создания интеллектуальной системы, превосходящей по адекватности и быстродействию американский суперкомпьютер IBM Watson. Только, где она, эта система? Где компьютеры?

А другие исследователи в других странах с не меньшим энтузиазмом доказывали обратное, называя первых лжеучеными. У меня чтение этой литературы вызывало сложные чувства, будто выкурила неправильный косяк. Я понимала, что все это – околонаучные бредни. Новая шняга. Набор откровенной чуши, чередуемой с очевидными банальными фактами, логическими ошибками. Полным отсутствием доказательств и ссылок на независимые источники,

которым можно доверять. И что за красивыми словами ничего не стоит и не лежит. Сокровенная хренотень. К тому же, ошибки псевдоученых всегда преднамеренны, в отличие от ошибок честных исследователей. Все это заставляло быть осторожной в оценках. Однако если руководствоваться знаменитым правилом Карла Поппера, то любое научное заявление можно считать научным. А истинно оно или ложно – вопрос дальнейших исследований…

Между тем, структурированная вода задевала за живое, цепляла. Вызывала интерес у профессионалов из-за фантастических возможностей, теоретически заложенных в ее природе в случае успеха. Наконец, проблема другой воды не являлась хобби ни для Тихона, ни для Дарвин. Ни, тем более, для кремлевской креатуры. Это был госзаказ, который обещал всем долгую комфортную жизнь в науке, потому как хорошая работа – это вообще не работа. А другим, если повезет, бессмертие…

Я старалась не думать о перспективах и с отвагой патологоанатома погрузилась в работу, которую мне поручала Дарвин. И тешила самолюбие смутной мыслью, будто в любой научной подделке скрыто нечто подлинное.

Кроме аппаратуры, представленной в избытке мировыми брендами, и специальной литературы, ТиТиПи с Дарвин собрали в Лэбе группу достойных специалистов. Ученая публика днем и ночью трудилась в поте лица за приличное вознаграждение, добавляя в дистиллированную воду всевозможные добавки на основе глицерина и других криопротекторов. Примерно так, как добавляют антифризы в жидкость для стеклоочистителей зимой. Только глицерин или метиловый спирт в кровь не добавишь.

Изолированные органы биглей-доноров перфузировались криопротекторами, а после подвергались заморозке. Хранились нескольких суток, иногда недель, даже месяцев. Потом размораживались и трансплантировались биглям-реципиентам с одновременным удалением собственного сердца или почек. Эта дорогостоящая, трудоемкая и сложная процедура позволяла корректно оценить эффективность консервирующего раствора. Другие методы давали косвенную оценку случившемуся. В 98,0 % случаев не удавалось ни запустить трансплантат, ни получить хоть какую-то функцию после пересадки. Остальные 2,0 % рассматривались, как сомнительные.

Прошли три года моей бесперспективной лаборантской деятельности в институте урюпинска. Под конец все, до последней санитарки, понимали, что вляпались и что скоро нас разгонят. Всё! Гасите свечи. И что держать ответ придется ТиТиПи и немножко Дарвин. И знали – перед кем. Тихон нервничал, кричал. Мы продолжали работать по инерции. И толкли воду в ступе, без надежды, что случится структурирование. И ворчали что-то под нос. Я называла это the grumbling of the lambs – ворчанием ягнят.

Заведующий операционным блоком Лэба, бывший лучший, но опальный хирург с волшебными руками, изгнанный за пьянство из институтской клиники, терзаясь похмельем, перешел на утренний режим приема спиртного. Однако, как бы ни был пьян, никто в институте не оперировал лучше. И в клинике тоже. Он накладывал сосудистые анастомозы при трансплантациях у маленьких биглей без микроскопа и специальных инструментов. И анастомозы никогда не тромбировались, и не кровоточили.

По слухам, его бы еще долго терпели в клинике. Но однажды он выполнял уникальную по технической сложности показательную операцию по удалению тромба из arteria pankreatika у тучной семидесятилетней женщины с острым панкреатитом. Удалив тромб и восстановив кровоток по сосуду, не стал ждать, когда ассистенты зашьют рану Утомленный спиртом и успехом тромбэктомии, мозг требовал немедленной разрядки. Презрев чужеземную делегацию, в присутствии которой проходила операция, он начал колбасить. И наколбасил такого, что лучше не вспоминать. Только тогда ему было все по фигу. Выпустив пар, разлегся на полу подле больной, уложив мозг вместе головой на окровавленное операционное белье, и захрапел, наплевав на обстоятельства…

Его бы, наверное, простили и в этот раз. Но ассистенты, зашивая брюшную полость, оставили в глубокой ране – намеренно или случайно – картонную коробку с атравматическими иглами «Made in France» Больная умерла на пятый день от разлитого перитонита.

В Древнем Риме, если пациент умирал во время операции или сразу после, врачу отрезали руки. ТиТиПи резать руку хирургу не стал. Он просто прогнал его из клиники, наплевав на уникальный хирургический талант, на профессиональное умение в игре на скрипке… Ради этого последнего он часто звал хирурга к себе по выходным на домашние музицирования.

Дарвин говорила, что среди множества фанатичных забав Тихона, любовь к классической музыке была одной из самых невинных. По выходным он собирал у себя в доме струнный квартет из институтских ученых, в котором второй скрипкой выступал опальный стрелок. Сам ТиТиПи предпочитал виолончель и по слухам славился удивительным умением. Я плохо разбираюсь в этом.

На альте играл урюпинский священник, по прозвищу отец Сергий, до боли похожий на своего толстовского тезку. По совместительству – доктор биологических наук, профессор Козельский, заведующий лабораторией сравнительной генетики поведения. Тонкий и длинный, как удочка, глава православных христиан урюпинска славился подчеркнутым аскетизмом, бросавшимся в глаза не слабее косоглазия. И фанатичной, как у нищих, что толкались на паперти возле церкви, верой во второе пришествие Христа.

Партия первой скрипки была пожизненно отдана Наташке Кипиани, who responded to the nickname «Kipa», кандидату физико-математических наук, заведовавшей лабораторией информационных технологий и математического моделирования. Наташка была гениальным ребенком сначала в детском саду, в школе, потом в Тбилисской консерватории, а под конец – в университете. Ее перевез в столицу джазовый музыкант. Весьма посредственный, он сумел заморочить голову родителям Кипы и увез. Через год они развелись. Карьера скрипачки в столице у Наташки не задалась, и она пошла служить в институт физиологии. Оттуда ее перекупил ТиТиПи, позарившись то ли на математический склад ума, то ли умение играть на скрипке….

Узнав, что ТиТиПи забил болт на хирурга и прогнал, Дарвин забила болт на Тихона и предложила хирургу перейти в Лэб. Он перешел, но не стал осмотрительнее и continued to alcohol abuse.[24] И понуро бродил вечерами по пустому Лэбу, согнувшись и спотыкаясь, будто шел за плугом.

Я присоединялась к его алкогольным стараниям ближе к вечеру. Мой собственный алкогольный опыт уходил корнями в детский дом, где мы пили портвейн, разбавляя его пивом. В студенческом общежитии универа северной столицы я пристрастилась к дешевому азербайджанскому вину, полезному для здоровья, как сулема. А в урюпинске основным алкогольным продуктом служила водка. Только пить ее не могла. И отправлялась за виски к Дарвин, в кабинете которой этот напиток не переводился. А за провиантом посылала санитарку в институтскую столовую, в ту часть, которая предназначалась членам ученого совета.

Хирург, его звали Зиновий Борисович Травин, равнодушно терпел мое присутствие за выпивкой. Дорогостоящий алкоголь, что таскала из кабинета Дарвин, его не интересовал, как и деликатесы из виповской столовки. Ему хватало запасов лабораторного спирта, который уважительно приносили операционные сестры.

Он сам разводил спирт дистиллированной водой в литровой посудине темного стекла с притертой пробкой, добавляя спирт в воду, а не наоборот. Потом засыпал лед в потеплевшее пойло и выжимал лаймон. И начинал пить мелкими тягучими глотками, будто цедил горячий кисель. И не притрагивался к еде. И не говорил со мной. Глядел в себя. Иногда в стол, аккуратно прибранный и чистый. А когда чувствовал, что засыпает, выпроваживал из кабинета, успевая поинтересоваться на ходу:

[24] Продолжал злоупотреблять спиртным.

– Что ты здесь делаешь, чува?

– Вас не устраивает мое общество? Пожалуйста, позвольте остаться! – умоляла я, упираясь руками в дверной проем.

– Утомляешь! – бормотал он и ронял голову на стол…

Обычно я садилась напротив, чтобы не терять его из вида.

Вглядывалась в небритое отечное лицо со следами былой породы. В длинные, всегда взлохмаченные, немытые серо-черные жирные волосы, падающие на уши. В невыразительные глаза, слишком близко посаженные к носу, зато меняющие цвет от количества выпитого: с серого на зеленый. И говорила что-то. Говорила. Но никогда про то, что влюблена. Тормошила. Тянула за рукав в надежде, что обратит внимание. Демонстративно проливала на стол спирт или коллекционный Дарвинов виски. И мысленно молила: «Делай со мной, что хочешь!».

Только Зиновий, для краткости я называла его Зиной, в этом смысле не вызывал сексуальных желаний. По крайней мере, пока. После детского дома я особо не знала мужчин… и женщин тоже. И практически не занималась с ними любовью ни в универе, ни здесь, в урюпинске. Думаю, отвращение к сексу появилось у меня после детского дома, где эта забава была сначала мучительно болезненной и унизительной, а потом стала такой же обыденной и мимолетной, как отъем зачерствелого пряника у малолетнего пацана. И казалась себе неживой. Только Дарвин, приходившая иногда поглядеть на большой клитор, могла расшевелить меня. Но это случалось так редко, что память отказывалась верить в случившееся.

А Зина продолжал неправильно питаться алкоголем и пахнул по утрам старым спиртом и биглями. Я держала его то за сына, которого не было, то за несуществующего отца. И питала лишь одну безумную, лишенную чувственности, литературную страсть, сродни той, что испытывают фанатичные монашки к скульптурам святых, затирая до блеска гениталии из бронзы, в надежде, что случится чудо и у непорочного чувака случится эрекция. Только твит Фрейда, что все процессы по мере нарастания эротизируются, не работал и не приносил облегчения. А Зина не поводил глазом из-за пролитого. Вставал. Доставал из бикса толстую марлевую салфетку и так тщательно вытирал стол, будто сушил брюшную полость от скопившейся крови.

– Как вам удается так много сказать, не говоря ни слова? – старалась подмазаться я.

– Тебя это беспокоит?

– Оскорбляет.

Я влюбилась в него с первого дня службы в Лэбе, когда увидела в одной из операционных. В стерильном белье, не отличимый от других, разве что ниже ростом, он стоял у стола, погрузив руки в грудную клетку бигля. А мне показалось, что, оставив бигля, подошел ко мне. Обнял. И дальше мы вместе наблюдали, как мастерски он продолжает операцию. Я знала, что это невозможно. Но так хотелось невозможного.

В какой-то момент Зина поднял голову и увидел, что стою в дверях. Долго смотрел, не узнавая, а потом неожиданно напустился на операционную сестру. И кричал что-то про посторонних, про стерильность, про дисциплину и какую-то хрень еще. Будто претендовал на тринадцатую зарплату. А может, отбивался от неминучей беды, приближение которой предрекала своим появлением.

Я онемела. Не могла ничего сказать в ответ. Лишь сопротивлялась отчаянно, когда санитарка выталкивала меня за дверь, будто навсегда выставляла из института, отдирая от чего-то таинственного, к которому вдруг прикоснулась глазами. Смотрела назад, стараясь разглядеть лицо под маской. И не могла. И влюблялась еще сильнее. И парилась, проходя по коридору. И понимала, что это мой косяк. Что заболеваю им не из-за индивидуальной предрасположенности, а потому как заразилась от него особо опасной инфекцией, вроде сибирской язвы или чумы, которая настигла меня так внезапно, как может застать человека врасплох долгожданный телефонный звонок. Однако не сожалела, что не успела подготовиться. Готовься – не готовься,

конец всегда один: такая болезнь бурно прогрессирует и заводит неведомо куда. Как биолог с красным дипломом, я знала, куда…

Иногда мне казалось, что смурной, сильно пьяный Зиновий чувствует мое состояние не хуже маленьких биглей. Он поднимал невидящие глаза, прижимал палец к губам и, чуть покачивая головой, улыбался, будто говорил: «Не дури, чува!» И я не дурила. Но извечное женское любопытство, а может, совсем не женское, постепенно превращало меня в сотрудника нелюбимого фсб. И толкало на расследования, как в биологии, до которой изредка допускала Дарвин.

– У тебя из-за большого клитора почти мужские мозги, Никифороф, – говорила она, загадочно улыбаясь. – В науке это очень важно. Не меньше, чем в поэзии. Поработай еще немного простым лаборантом.

И я продолжала мыть полы в помещениях Лэба. Настраивать аппаратуру. Таскать из институтской аптеки ящики с медикаментами для оперированных биглей. Кормить их. Редактировать статьи младших научных сотрудников и старших тоже. Проводить исследования in vitro с композициями консервирующих растворов. Диапазон моих функций варьировал от прав санитарки до обязанностей старшего научного сотрудника и секретаря Дарвин.

– Давайте сделаем паузу в исследованиях, – предложила я как-то Дарвин.

– Идея не заслуживает аплодисментов, – сказала Дарвин и тут же согласилась: – Давай! – И так обрадовалась, будто выиграла у меня партию в теннис. – Собирай челядь, Никифороф!

– Мы пытаемся структурировать воду, вводя в нее всевозможные добавки, – сказала Дарвин собравшейся публике. Вид у нее был совсем не научный. И публика понимала это, и смотрела с восхищением и нескрываемым желанием, как смотрят на нее всегда. – Мы так стараемся, словно хотим отмыть в сильный мороз водой лобовое стекло автомобиля. Только одного старания мало.

Мне тоже порой казалось, что усилия челяди больше направлены на затягивание времени комфортного проживания в науке, чем установление истины. Но публика оживилась. Принялась выкрикивать с мест разное. Больше про лженауку, про чудеса, которые происходят крайне редко. И что не следует подвергать чудеса сомнению, когда они случаются. Дарвин услышала и сказала:

– Ложь в мягкой форме полезна. В нашей стране лженаукой объявлялась не только генетика. И потом ни от кого из вас не разит, когда возвращаетесь со службы.

Второе лицо в Лэбе, заместитель Дарвин, доктор биологических наук прямо из столицы, независимый и высокомерный старший научный сотрудник Валентин, попытался суммировать ворчание ученых:

– Нужен не просто новый импульс. Нужен вечевой колокол, чтобы тема, которая с самого начала была обречена на провал, зазвучала. Я не раз обсуждали это с вами, Дора Робертовна. За три года мы смогли накосячить кое-чего успешного. Но, к сожалению, ни одна из наших разработок не тянет на открытие. А чистая вода, как замерзала при нуле, так и продолжает замерзать. Хоть считаете, что точка замерзания воды – просто цифра. И земное тяготение нам не одолеть, как ни старайся. Продолжать?

– Я продолжу сама, – сказала Дарвин и неожиданно для себя, и для всех нас произнесла гениальное: – В науке решающую роль играет не столько успех, сколько дух, из которого он рождается. Поэтому в нашей стране за всю историю накопилось только двадцать три Нобелевских лауреата. В Штатах их почти четыре сотни. Берем тайм-аут в исследованиях. Попробуем по-другому. И помните: увеличение ваших усилий или стараний – это не ответ. Это неэффективно, даже при многократном увеличении. Попробуйте стараться умнее. А за оригинальные идеи – премия. – Она задумалась на мгновение: – В размере полугодового жалованья. – Дарвин умело демонстрировала публике influence – потрясающую способность увлекать своими идеями других.

Челядь задвигалась вся разом. Я подняла руку:

– У меня есть идея.

– Я имела в виду научных сотрудников, Никифороф. Пожалуйста, коллеги!

Челядь не торопилась с идеями.

– У вас есть время до конца недели. Жду вас поодиночке или парами. Только не загоняйте мне старое про воду.

– У меня идея, доктор Дарвин, – я снова полезла под пули.

– Хорошо, Никифороф. Бомби!

– Надо попробовать воздействовать на саму природу воды, а не вводить в нее добавки криопротекторов, – сказала я, немного гордясь собой. Хотя в случае успеха мой бонус был бы в пять-семь раз ниже, чем у научных сотрудников. Если, конечно, не считать деньги, что Дарвин давала мне в конверте.

– Что ты имеешь в виду?

– Ну…, – замялась я. – Станем облучать жестким рентгеновским излучением… стрелять из кобальтовой пушки… давить прессом… кипятить…

– Полагаешь, мы не делаем этого?

– Делаем, но применяем воздействия изолированно, вперемежку.

И сразу челядь подняла головы. Заговорила разом, перебивая друг друга. Идеи посыпались, будто картошка из прорехи в мешке…

С понедельника половина сотрудников Лэба переместилась в инженерно-технологический корпус под названием «Массачузет», оснащенный не хуже знаменитого Массачузетского технологического университета.

Воду начали одновременно облучать, взрывать, продавливать через нано-сита, нагревать, охлаждать до запредельно низких температур, пригласив специалистов из физического института в столице. Жизнь снова закипела. Только ненадолго. Через пару месяцев даже моему ежу МаркБорисычу стало ясно, что структурированную воду не получить и в «Массачузете». Ergo, вп и другим постояльцам кремля вечная жизнь не грозила пока. Может, это и к лучшему.

Публика снова стала тухнуть. Опыты продолжались по инерции. Только ничегонеделанье было еще хуже, потому что в ничегонеделанье нельзя всё бросить и пойти отдохнуть. Запасы лабораторного спирта таяли. Долларовые ставки в преферансе росли. Трудности были связаны не с обилием проблем, но с отсутствием механизмов их решения…

От безысходности я увеличила число алкогольных заходов к Зине по вечерам. Поначалу, он смотрел на меня удивленными глазами, если смотрел, конечно. Но потом привык. И молчал, но так по-интеллигентски нагло, что матерные тексты просто толпились в воздухе. «Hit the road bitch!»[25] – читала я, но не обижалась и не уходила.

Но однажды добилась своего, если это можно назвать достижением. В тот вечер пьяный Зиновий долго рассматривал меня, не узнавая. Встал, поманил ладонью, но так неожиданно, что я в страхе шарахнулась. Подошел и молча стал стягивать с меня одежды, осторожно и очень умело, пока не раздел догола. Притащил стул. Сел и принялся разглядывать, чуть касаясь тела руками. Добрался до клитора. Я покраснела и сказала, будто была последней дурой:

– Доктор Дарвин говорит, у меня слишком большой клитор. – Он даже не улыбнулся.

Я пребывала в каком-то совершенно незнакомом восторженном трансе, трепеща каждой клеткой собственного тела от сумасшедшего желания, которого никогда не знала. Оно было так мучительно прекрасно своей незавершенностью, что вынести его, пережить, казалось, уже нет сил. А он продолжал свои касания, доводя до изнеможения, до полуобморочного состояния, когда потеря рассудка кажется самой малой из потерь, которые ты готова отдать, чтобы мука продолжалась. Только Зина встал внезапно со стула и также молча повернулся ко мне спиной…

[25] Пошла вон отсюда сучка.

Похоже, у него были свои проблемы. Но не слабее. Я безумно жалела его. И себя. И умирала от желания раздеть, приласкать, помочь выплакаться в жилетку. Но он держал меня за бигля. И не пинал ногой только из сострадания и уважения к этой породе с чистыми инбредными линиями, специально выведенной в Штатах для экспериментов по трансплантации органов. Мне ничего не оставалось, как смириться. Я все больше становилась похожей на бигля любовью, терпением и преданностью. Оставалось любопытство, такое же неудовлетворенное, как и все остальное в наших отношениях с Зиной.

За правдой я отправилась в отдел кадров. Попросила личное дело Зиновия Травина. Мне отказали. Отправили к начальнице. Кадровичка, за сорок, худая, модно одетая – в институте, глядя на Дарвин, все хорошо одевались, – улыбчивая и любопытная, поинтересовалась сразу:

– Чем вы так обворожили профессора Дарвин, милочка?

Не ответить ей было просто невозможно:

– Полагаю, в основе наших отношений лежит гомосексуальная невостребованность обеих. – Кадровичка не сразу въехала. А въехав, перестала улыбаться. Стала киснуть и так сильно, что мне стало жаль ее.

– Ступайте за разрешением в службу безопасности – отомстила женщина.

Начальник службы безопасности института, крепкий старый пень в полтора моих роста, со странной фамилией Сангайло, встретил, будто ждал всю жизнь. Выбритые до блеска голова и лицо без бровей и ресниц. Типичный комбриг Котовский. Мне показалось, слышу победный топот красной конницы. Тонкий темный костюм от Труссарди. Такие же очки. Только антураж не скрывает кагэбэшно-эфэсбэшный анамнез. Не помогает доска с иконой святого на стене. Золотой крест на могучей шее в вырезе расстегнутой рубахи и кольца на пальцах, удивительно длинных, как у Рахманинова.

– Зачем тебе? – поинтересовался чекист и добавил улыбаясь: – Никифороф.

– Надо.

– Это не повод. Закон запрещаеть.

– Знаю… я люблю его… а он… он держит меня…

– Шо, за бигля?

Я вскочила. Опрокинула стул. Бросилась к выходу, шепча на ходу ругательства.

– Никифороф! – услышала спиной. – Стань там и слушай сюда. Твой хирург законченное дерьмо, если брезгуеть такой девахой. То, шо он пьяница – не у счет… по крайней мере, для тебя. А шо руки золотые… не за руки же ты утрескалась у него, у конце у концов.

Я двинулась обратно. Села. Раздвинула колени, не пытаясь поправить полы халата. Уставилась на монстра и сказала:

– Дайте личное дело посмотреть… на пару минут.

– У чем засада? – Он встал за моей спиной. Нагнулся. Коснулся ладонью голого бедра. – Лучше всего воспринимаю человека на ощупь. – И медленно двинулся вверх удивительно сильными длинными пальцами. Только с перстнями. Зачем они ему при такой профессии? Похоже, что пальцы удивляли его самого уже не один десяток лет. И удивление не проходило, потому что он рассматривал их, будто чужие, и стеснялся. Этот бзик, видно, досаждал ему не меньше, чем мне – большой клитор.

Я замерла, мучительно вспоминая, какие на мне трусы… Вошла секретарша – молодуха лет тридцати. – Пусть посидит здесь, – не поворачивая головы, попросил чекист. – Не возражаешь?

– Раньше – личное дело Травина, – потребовала я.

– Ты не у церкви, Никифороф, – успокоил он. – Тебя не обмануть.

Я вспомнила золотой крестик на шее монстра и промолчала…

Молодуха сидела в кресле, бесстрашно закинув ногу на ногу, и не собиралась участвовать. А чекист дрючил так старательно, что через минуту я уже встала и подошла к окну.

Каждый отдает себя за ту цену, которую сам назначает. Все зависит от степени нравственности, у которой, по большому счету нет ни середины, ни цены. Она либо есть… Я стала слишком доступна, и сама бросаюсь на шею первому встречному-поперечному, если встречаю, конечно… Капелька липкой спермы, остывая, медленно текла по бедру. Если все они в фсб такие же беспомощные и бездарные гомеопаты, лишенные усердия и изобретательности в борьбе с инакомыслием, как институтский монстр-прелюбофил в сексе, крамолу в стране им не одолеть никогда, даже вернув 37-ой год и презрев конституцию. Нехер делать! Даже если станут искать врагов народа на трамвайных остановках.

– Ты кончила? – поинтересовался откуда-то издалека чекист.

– Тебе нужны субтитры?

Секретарша встала. Вернулась с личным делом. Протянула…

Я с трудом прочла на картонной обложке: «Травин Зиновий Борисович»… родился… закончил школу… первый медицинский институт… место работы, должности, копии дипломов… буквы двоились, троились… все плыло. Мне казалось, сейчас упаду…

Протянула папку монстру:

– Что там? Почему с дипломом профессора служит хирургом в собачнике? Почему пьет, как извозчик?

– Шо ты хочешь, девочка, – хохотнул монстр: – Это тебе не история болезни. Мы не анализируем причины, не ставим диагнозы. Только Травин твой такой косяк заделал… Где ты нашла себе эту хворобу на жизнь?

– В парке валялся… В чем он провинился? – В голову лезло самое плохое, что может сделать хирург: зарезать больного по неосторожности, поставить ошибочный диагноз, повредить крупный сосуд, удалить здоровую почку или ногу, оставить ножницы в животе. Господи! Да мало ли чего?! Только Зиновий Травин, чего-бы не накосячил, в сто раз благороднее вероломного Сангайло.

Я ждала ответа, но монстр собрался во вторую смену и возил рукой под халатом, размазывая липкую капельку по бедру. И чувствовал себя закоренелым бабником, и принуждал к оральному сексу. Этого я вынести не могла. Повернулась. Ударила кулаком в грудь. Оттолкнула и заорала, вытягивая из памяти детдомовские тексты:

– Ты меня совсем задрал, лыжник долбанный! Fucking security officer! – И продолжала орать в надежде, что струсит и выложит правду про Зину, лишь бы заткнуть меня. Но опричник оказался не робкого десятка. Не повел и глазом. И, положив на мои крики, ждал, когда закончу. Я остановилась. Взяла трусы со стола и замерла в нерешительности. Во мне не было стыда. Только обида и злость, как в детском доме когда-то. И жалость к себе, и Зиновию Травину.

– Ну, шо ты паришься? – дрогнул монстр. – Не дрожи диван. Лопнешь все пружины. Чем он тебя зацепил, дочка?

– Дочка!? – снова взвилась я. – Значит, дочку ты только что дрючил на столе?! Я тебе во внучки гожусь, старый козел! Оботри конец, fucking dolt![26] – Я снова стояла посреди эфэсбэшного кабинета и крутила кистью трусы. Очень дорогие. Черные, в горошек. Подарок Дарвин. И забывала, что желание стать в позу почти всегда заканчивалось для меня положением на четвереньках. И понимала, что для таких, как он, понятия добродетели не существует. Как и для меня, наверное, потому что занятия любовью давно превратились в бартер. И неважно, добрый или злой засаживает в тебя свой болт. Главное, что получу взамен. И потребовала:

– Колись, бля!

– Ну шо тебе сказать, – сдался дед. – Я впрягаюсь у твои проблемы. Ты – у мои. Без базара. Трусы не забудь натянуть, пока што… – Он говорил со странным акцентом. В дикторы его бы точно не взяли. Даже на радио. А еще знала, что молдаванин по национальности…

[26] Придурок.

шабес-гой… или еврей, или просто жил на Молдаванке в Одессе и служил в тамошнем кгб. А потом перебрался в столицу, в фсб. А когда вышел на пенсию, перебрался в урюпинск… Остальные его прелести так сильно в глаза не бросались.

Он поискал глазами личное дело Травина на столе. Не нашел. Посмотрел на секретаршу. Та встала, подала папку. Чекист не стал раскрывать и продолжал обеспокоенно и осторожно, будто читал по памяти:

– Твой хирург… патологическая личность… говно… понимаешь? Просто гицель. Патологическая физиология, которая у названии нашего института, плачеть по нем.

– Гомик, что ли? – переспросила я. – Быть не может.

– Хуже, – заголосил бывший чекист.

– Не мороси! – я тоже кричала. – Кто он? Пед? Трансвестит? Совокупляется с мертвецами, животными?! I want to know the truth!

– You wanna know the truth? – на приличном английском переспросил Сангайло. – Then read the multiplication table, baby.[27]

За спиной послышалось движение. Я обернулась. В дверях стоял Зиновий Травин в операционном белье и, придерживая плуг руками, чуть шатался, будто под ветром.

– Шо тебе, Травин? – засуетился монстр. – Я занят. Шо, не видишь? Подожди за дверью.

– Зачем ты пришла в этот гадючник, Вера Никифорова? – Зина впервые так долго говорил со мной. Взял за руку. – Пойдем! Лучше меня тебе все равно никто не расскажет…

В тот день мы толпились возле установки, смонтированной в помещении «Массачузета», похожем на заводской цех. Расположенный в дальнем конце институтского парка, возле морга, цех с установкой представлял собой вершину инженерной урюпинской мысли. Это чудо, язык не поворачивался назвать его словом «техники», представляло собой конгломерат творческих, порой совершенно безумных, идей Дарвин и моих по воздействию на обычную водопроводную воду, в стремлении переделать ее структуру. Установка совмещала в себе несовместимые устройства: от банального кипятильника, морозильника с жидким азотом, лазерной, рентгеновской и кобальтовой пушек, до могучей центрифуги с не менее могучим прессом, терморегулятором и высоковольтным генератором. В установку были встроены и продолжали встраиваться всевозможные спектрофотометры, газоанализаторы, масс-спектрометры и прочие анализаторы, позволявшие на любом этапе эксперимента, в любой момент воздействия, получать в реальном времени данные о состоянии воды. Все сооружение напоминало храм La Sagrada Familia – храм Святого семейства в Барселоне, хаотично надстраиваемый по замыслу автора; поражавший воображение нагромождением архитектурных деталей и, тем не менее, необъяснимо прекрасный своим уродством.

Установка, мы прозвали ее «Барселоной», позволяла производить с водой немыслимые процедуры, одновременно или в заранее заданной последовательности. А контейнер, в который помещалась вода, вообще был уникален, если позволял совершать эти чудачества.

Мы – это Дарвин, ее высокомерный заместитель Валентин из столицы, несколько инженеров и техников, парочка умников-физиков, несколько лаборантов, еж МаркБорисыч в корзине и я. Еще были два или три охранника в красных майках под черными одеждами. Они всегда сопровождали нас. След в след. Молча. Служба безопасности была самым могучим, многочисленным и продуктивным департаментом института. Охранники стояли на этажах, возле лифтов, у главного входа, толпились у проходной, в парке, бродили по коридорам. Это был самый преданный власти и наиболее патриотичный класс нашего народонаселения, не страдающий любознательностью и самонадеянностью, не привыкший задавать вопросы. Объединен-

[27] Я хочу знать правду.Хочешь знать правду? Читай таблицу умножения.

ные смыслами и массовой культурой конца прошлого века, подвыпив, они пели песни сорокалетней давности, любили старое кино. Ни на митинги оппозиции, ни в библиотеку – ни ногой.

Мы знали заранее результат очередного эксперимента. Все было, как обычно. Только с самого утра стояла влажная жара. Было душно и липко. Кондиционеры не справлялись. Вентиляторы гоняли горячий воздух по полупустому, стерильно чистому пространству с высокими потолками. Технический персонал был одет в серое операционное белье. Остальные – в голубое, натянутое на голое тело. Молодые и крепкие охранники, зимой и летом одним цветом – черным с красным, – издали смотрелись муляжами пенисов.

Из-за жары «Барселона» дурила. И всякий раз приходилось перенастраивать аппаратуру.

– Обещают сильную грозу, – сказал высокомерный Валентин. – Давайте отложим эксперимент.

– Нет! – отрезала Дарвин. – Цех заземлен по периметру. На крыше – громоотводы. Окна и двери герметично закрыты. Что нам может грозить?

– Воздух перенасыщен электричеством, – не сдавался талант.

– Продолжаем, – подвела итог дискуссии Дарвин.

Наконец, все заработало. «Барселона», похожая наракету перед запуском, несильно гудела, попыхивала синим. Подрагивала. Парила. А потом пошли пугающие взрывы в прессмашине, один за другим. Так работает устройство, забивающее сваи в грунт.

Только Дарвин нервничала больше обычного. Покусывала ногти. Пристально всматривалась в дрожащую «Барселону». Подстегивала глазами, чтобы поскорее извлечь контейнер с водой, отвезти в Лэб и приступить к прямым исследованиям. Программа должна была завершиться через десять минут.

Я возилась с МаркБорисычем, которого пугали взрывы, когда услышала призывный окрик Дарвин:

– Никифороф! Чем ты занята, черт возьми?! – Не стала отвечать и двинулась на голос. Пока шла, за окнами с каждым шагом стремительно темнело. Начиналась гроза. Дождь лил так себе, но грохотало, будто на передовой в кино про войну.

Я почти добралась до публики. А они вдруг все повернули головы и принялись напряженно рассматривать что-то за моей спиной. Я тоже оглянулась и увидела в воздухе бело-синий огненный шар, как на рекламных горелках нашей могучей газовой компании, который, шелестя и потрескивая искрами, медленно двигался на меня. Размерами с волейбольный мяч, он был совсем не страшен, даже безобиден, и казался бомбочкой из компьютерной стрелялки. Только приближаясь, смешная бомбочка становилась все страшнее, пока меня не обуял ужас. «Шаровая молния! – догадалась я. – Сейчас она доберется до установки, напитанной электричеством, как трансформаторная будка, и тогда…».

Пребывая в странном трансе из-за переизбытка электрического поля вокруг, я двинулась навстречу огненному шару, который успел поменять цвет на ярко-синий и громко шипел. И собралась голыми руками воевать с электрическим чудовищем, чтобы защитить «Барселону» и челядь, и охранников. И спасти Дарвин, без которой жизнь моя теряла смысл.

Размахивая руками и что-то крича, я бросилась на огненный шар, как бросаются в сугроб. Это не было состоянием несделанного выбора. Я была Зоей Космодемьянской и 28 героями-панфиловцами, Олегом Кошевым и генералом Павловым одновременно. И Бандерой. Но шар равнодушно отклонился в сторону и двинулся дальше, прямиком к публике, продолжавшей толпиться возле «Барселоны». К Дарвин, стоящей чуть впереди с полными ужаса белыми глазами во все лицо…

Я не слышала взрыва. А когда пришла в себя немного, увидела в дымящейся полутьме «Массачузета» санитара Евсея из морга. Он наклонился так близко, словно собрался целоваться. Оттолкнула. Попыталась сесть. Не смогла и бормотала, что надо найти Дарвин в слу-

чившемся месиве. Он кивал головой, но не уходил. Я, наконец, села и ватным матерным голосом отправила его на поиски Дарвин.

Оглянулась. Обугленный корпус «Барселоны» походил на космическую ракету, взорвавшуюся на стартовой площадке перед запуском. Вокруг валялась челядь. Бродили пригоревшие охранники-муляжи и что-то кричали в непослушные переговорные устройства. Я поднялась и двинулась к установке. Шатаясь, запинаясь ногами о железный хлам и челядь на полу, медленно брела вперед, пока снова не наткнулась на Евсея. Он сидел возле Дарвин в той же позе, что подле меня, и нащупывал пульс на сонной артерии. Голубые хлопковые штаны Дарвин уцелели, а рубаху снесло взрывом, как сорвало рубахи и штаны у многих из лабораторной челяди. Она лежала на спине, неприлично раздвинув ноги.

Подъехали пожарные машины и «Скорые». Кто-то громко через мегафон отдавал строгие команды. Хаос начал упорядочиваться. Сам. Тушить уже было нечего. Челядь грузили в «Скорые» и увозили в клинику. Пожарники разбирали обгоревшую аппаратуру.

Подошел Евсей:

– Как ты, Вера?

– Сносно! – огрызнулась я, наученная общением с начальником службы безопасности. Старик Евсей никогда не разговаривал со мной, не называл по имени. Однако знала, что ходит в фаворитах у Дарвин, когда у нее случаются приступы то ли астмы, то ли месячных. Или вдруг появляется систолический шум на аорте, где клапан. И тогда она на сутки, а то надвое, immerses herself in the downshifting,[28] и сбегает в морг к Евсею, давнему другу своему по занятиям сексуальным экстримом. Опустившемуся, вечно пьяному мужику огромного роста, с вонючей сигарой в зубах, с улыбкой блаженного и омерзительными запахами формалина, трупного духа и старого алкоголя, выпитого вчера. Странно, но вонь была ему к лицу. Сказать про такого: «блаженный» – незаслуженный комплимент. Но Дарвин тяготела к умственным калекам.

С голым черепом, густыми седыми бровями и такой же бородой, Евсей походил на Саваофа, а еще голосом: глубокой трехголосой церковной профундой, идущей прямо из мочевого пузыря. Он принимал Дарвин в каморке, похожей на кладовку. Маленькой, с таким же мерзким сладковатым запахом трупов, топчаном, тумбочкой со старым микроскопом и рядами полок вдоль стен, заставленных банками с органами биглей. Повсюду валялись стекла с окрашенными гистологическими препаратами.

Иногда я пробиралась в морг следом за Дарвин. И, прижав ухо к двери, погружалась в их dumpster-diving,[29] и слушала необычный диалог чистюли Дарвин и сумеречного старика, грязного даже для морга.

– Инстинкт представляет собою реагирование на внутреннее состояние субъекта, – вещал Евсей, посвечивая в темноте ярко-синими глазами Саваофа. Дарвин не желала падать с лошади и парила, что сознание не несет в себе критериев. Последние определяются целями, которые преследует человек. Тогда Евсей вспоминал, что коммуникативные фильтры всегда анизотропны, что человеческие убеждения формируются в сфере бессознательного, что… Потом они переходили к теме воды, и малограмотный, пьяный в дрезину ватник вешал на уши умнице Дарвин вычитанную в интернете лапшу. Про анабиоз, криптобиоз, про действие сверхнизких температур на митохондрии, про абсолютный ноль, при котором компоненты любой системы обладают наименьшим количеством энергии, допускаемой законами квантовой механики, и прочую хренотень…

Порой, набравшись храбрости, я приоткрывала дверь и, дрожа от возбуждения и страха, смотрела, как Дарвин, задрав ноги в туфлях на плечи Евсея, что-то говорила, помахивая рукой

[28] Добровольно спускается по социальной лестнице.

[29] Питание на помойках.

с вонючей сигарой или полупустой бутылкой. И следила за происходящим, пока они не переходили к боевым действиям. Дарвин стягивала трусы, усаживалась на стол, опускала ноги…

Смотреть, как они занимаются любовью, как прекрасное тело Дарвин с остатками горного загара неистово и вульгарно предается пороку, было так невыносимо больно и унизительно, что хотелось закрыть глаза и умереть, чтобы никогда больше не вспоминать и не видеть это. Мне казалось, оба предают меня. Я шептала ругательств. Убегала к себе и, стоя под душем, вымещала на большом клиторе ревность и стыд, что мучили меня…

– Профессора Дарвин отвезли в клинику. С ней все в порядке. Почти. – Кричал в ухо Евсей. – Пойдем, Вера.

– Пошел ты! – Меня бесила его забота.

Вырвавшись, я принялась бесцельно бродить по цеху, пока не поняла, что стою перед покореженной «Барселоной». Голова гудела большим колоколом и болела так сильно, что даже взмах ресниц казался ударом молотка по затылку.

Стараясь не моргать, ворошила мусор под ногами и обходила установку в поисках неведомо чего. И шла круг за кругом, пока не наткнулась на обгоревший металлический шар, похожий на большую картофелину. Нагнулась. Взяла в руки… и заорала от боли и испуга: шар был горячим. Пока охала и дула, боль странно прошла, будто не было. Поднесла руки к лицу и не увидела ожогов, которых ждала. Не было даже волдырей. Растерянно оглянулась: вокруг – ни души. Даже настырный Евсей сгинул. Пнула, негодуя, злосчастный шар, и он неожиданно легко отскочил, будто мяч, и запрыгал прочь…

Вернувшись в аспирантское общежити, полезла под душ. И стояла неподвижно, без мыслей и чувств, пока вода не смыла запах пожарища. Нашла початую бутылку виски из запасов Дарвин. Приложила к губам. Потом сидела в кресле. Приходила в себя. А когда пришла, первой мыслью была Дарвин.

Добежав до ожогового центра, принялась искать ее в палатах. – Она не поступала к нам, – успокоил дежурный врач.

Я нашла Дарвин в кабинете ТиТиПи. Огромный директорский кабинет размером в теннисный корт, казалось, спроектировал Сикейрос, столько пространства, уровней и света было в нем. К кабинету примыкает зимний сад. Но доминирует огромный письменный стол, заваленный всякой всячиной. Повсюду валяются смычки от виолончели, канифоль, ноты. Рядом соседствует прибор ночного видения, два старинных серебряных подсвечника, которым здесь не место, как не место виолончели в углу, и второй в чехле неподалеку от первой. На ближней стене несколько дисплеев. Старинные шкафы со стеклянными дверцами. В них книги по физиологии и патофизиологии, изданные за последние сто лет. Портреты маслом знаменитых врачей, физиологов и патофизиологов в деревянных рамах. Множество фотографий ТиТИПи с депутатами, членами правительства, коллегами из-за границы, космонавтами, актерами, хоккеистами. Дипломы всех мастей. Скромная фотография верховного правителя с дарственной надписью в виде подписи…

Другая часть Тихонова кабинетика, предназначенная для отдохновения, была символически отгорожена от первой парой чугунных скульптур в полный рост, кожаными диванами, двухсторонними стеллажами с книгами до потолка и цветами в керамических бочках. И походила на библиотеку престижного английского клуба. На одном из столов выставлены бутылки с алкоголем и водой, стаканы, термосы со льдом, призванные демонстрировать алкогольное бесстрашие хозяина кабинетика. У стены бар и тоже с напитками. А еще винтовая лестница со стеклянными ступенями, ведущая на антресоли, нависавшие над половиной корта. Там я никогда не была.

На одном из диванов, прикрытая пледом, лежит Дарвин, свесив голую ногу на пол. Возле ноги стоит бутылка Jameson без крышки и без стакана.

– Ты – не Никифороф, чува! Ты – Александр Матросов, – улыбнулась Дарвин. – Думала посмертно наградить тебя. Прости, не получилось. – Она похлопала ладонью по дивану: – Присядь! – И пока шла к ней, с удивлением рассматривала любимое лицо, чуть покрасневшее, без бровей, ресниц и прядей волос возле уха, ставшее голым еще прекраснее и роднее.

Вспомнила безволосого Сангайло: «Он ее тоже, наверное, дрючил на столе… и не раз». И представила целомудренную недотрогу Дарвин, сидящую голой попкой на эфэсбешном столе… в чулках, что крепятся пажиками к поясу, в итальянских туфлях до лодыжек, которые не снимала, занимаясь любовью…

– Будешь? – Дарвин кивнула на бутылку.

– Буду. – Я поднесла бутылку к губам. Через мгновение алкоголь принялся вытеснять из головы и тела дневные заботы. Можно было расслабиться и прилечь подле Дарвин на минутку.

– Подожди ложиться! – сказала Дарвин и забрала бутылку. – Два сотрудника погибли. – Она хлебнула из горлышка: – Мальчик-физик и охранник. Двое – в реанимации. Догадываешься, чем это грозит? – Дарвин села и, размазывая слезы по лицу, стала повторять монотонно: – Fucking water! Fucking water! – А потом, без перехода: – Нечего странного не заметила там?

Больше всего хотелось спросить: «Где там?». Но вместо этого, неожиданно для себя, заявила, отчетливо выговаривая слова, будто для протокола:

– Видела одну штуку из металла, похожую на шар… шершавый… очень горячий. – Поднесла ладони к лицу… и отчаянно, до боли в ладонях, пожалела о своей болтовне. И не понимала, почему.

– Возьми несколько человек челяди. Отправляйся в цех. И без этой штуковины не возвращайся! – Дарвин привычно командовала парадом. Только встать не смогла. Голова закружилась. Ее вырвало чистым виски без еды…

В кабинет вошел Тихон. По-хозяйски оглядел теннисный корт. Подошел к Дарвин на задней линии: – Тошнит?

– Нет! Рыгаю от удовольствия. – Она атаковала ТиТиПи, будто он взорвал «Барселону», и говорила что-то, говорила…

– Здравствуй, Никифороф! – сказал ТиТиПи, чтоб отбиться от Дарвин. – Вижу, повезло тебе сильно. Голыми руками на шаровую молнию полезла. Дура! А инженера по технике безопасности выгоню и дело в суд передам. Напиши на мое имя докладную, как все случилось. Договорились? Хочешь побыть с Дорой?

– Мне надо в «Массачузет» за…

– Заткнись! – успела остановить меня Дарвин…

Когда мы добралась до цеха, было совсем темно. Светильники в этой части парка почему-то не горели. Если бы не охранник и два мальчика-физика из Лэба, все с фонарями, я бы не нашла цех до утра. Мы вошли через проем в стене с выломанным стеклопакетом. Вместо гари странно пахло свежими огурцами, разогретыми солнцем. Я безнадежно оглядывала огромный цех, размером с футбольное поле, заваленный обгоревшим хламом и надежно прикрытый ночной тьмой, в которой узкие почти параллельные лучи фонарей высвечивали лишь небольшие участки пола.

– Полный абзац. Подождем до утра, Никифороф, – предложил креативный мальчик-физик, умевший считать варианты.

– Да, давайте! – обрадовался второй.

– Пошли вы оба! Здесь я принимаю решения. Дарвин обязательно пришлет кого-нибудь проконтролировать наши старания. Хватит гаситься. Походим немного. За мной!

– Не командуй тут! – обиделся креативный.

Я вспомнила, что физиков зовут Лева и Рома, и что про их дружбу ходят сомнительные шуточки в Лэбе, и сказала: – Дайте фонарик, чуваки! Пойду одна… с охранником. – И собра-

лась двинуться вперед. И увидела… увидела, как из темноты бесшумно выкатилась большая картофелина из железа, серая, с окалиной, и двинулась ко мне… по воздуху. Подрагивая, она висела над полом на расстоянии полуметра. Это было так неожиданно, что сразу не поверила. Будто загадала желание, подбросила монетку, и она упала… Нет, ни на орла, ни на решку, тем более. Она упала на ребро и осталась стоять, покачиваясь.

Я тоже покачивалась, только от страха и удивления, и боялась оглянуться на мальчиков за спиной, чтобы картинка не исчезла. Стояла и ждала чего-то. Дождалась: из темноты, друг за другом, вышли еж МаркБорисыч, целый и невредимый; за ним безымянный приблудный рыжий кот и здоровенная институтская дворняга по имени Страшила, в которой кровей было намешано не меньше, чем в кентаврах. Не обращая внимания на людей, животные расселись вокруг шара-картофелины и, пребывая в странном трансе, не сводили с него глаз. Пауза затягивалась. Я почувствовала себя девочкой Элли из «Алисы в стране чудес». И подумала: «Сейчас налетит ураган и отнесет нас всех в страну…». И не успела додумать до конца, потому что налетел ураган, сбил с ног, закружил вместе с шаром, мальчиками и зверьем…

Я быстро пришла в себя. Попыталась сориентироваться. Оказалось, лежу на полу среди множества стеклянных осколков. В глазах резкая боль. Надо мной перепуганные Лева и Рома. Светят фонариками прямо в лицо. Отодвигаю фонари. Сажусь.

– Что случилось, мальчики?

– На тебя упал кусок стекла из окна… небольшой… придавил немного. Как ты себя чувствуешь?

– Подавленно. – Я не смогла улыбнуться. Еж, кот и пес Страшила по-прежнему сидели кругом и пялились на шар. – Пошли вон! – заорала я, размахивая руками. – Заберите ежа, Рома-Лева! – Нагнулась к картофелине. Подняла. Во что бы положить ее? А охранник уже снимал куртку…

Мы снова шли по парку. Снова, как утром, было душно и липко. Охранник тащил картофелину. Рома с Левой на ходу перекладывали ежа с рук на руки. Мне было страшно. Тошнило. Я вспомнила, как Дарвин вырвала голым виски. Остановилась возле дерева. Нагнулась. Спазмы скрутили пустой желудок. Не было даже слюны. Подошли кот и Страшила, сочувственно присели на хвосты.

– Дон Кихот говорил…, – сказал Лева.

– Заткнись! – Я все-таки вырвала и сразу почувствовала облегчение, словно до этого нормально жить мешало содержимое желудка.

У входа в Лэб мы остановились. – Дальше я пойду одна, мальчики. – Повернулась к охраннику: – Давай железку. Куртку заберешь утром на вахте.

– Мы проводим. – Лева с Ромой напрашивались в ночные гости.

– Остыньте, чуваки! Я буду ночевать в кабинете Дарвин. Вам туда нельзя.

– Мы только донесем ежа до дверей.

– Он сам доберется.

Другой охранник проводил меня до кабинета Дарвин. Посмотрел, как открыла собственным ключом дверь. Пожелал спокойной ночи и ушел. Я осталась одна, если не считать МаркБорисыча, что двигался по коридору…

Я казалась себе законченной дурой, которая не знает, что делать с волшебной картофелиной, исполняющей желания. Нет! Я была Золушкой. И добрая волшебница-фея снарядила меня на бал, предоставив одежды, карету, лошадей и кучера… и туфельки. Пора отправляться на бал! Только прежде спрячу туфельки, чтобы не облажаться, когда появится принц. И двинулась на третий этаж, в номер к Зине. И просила фею, чтобы хирург оказался на месте…

Его не было, конечно. А непохожая на туфельки картофелина снова жгла ладони. В детском доме мы прятали ценные вещи там, где никому не придет в голову искать их. Я знала, где спрячу картофелину, но даже себе не решалась сказать об этом.

Чтобы выйти из Лэба, надо было миновать охранника. С артефактом под мышкой не пройти – не туфли. И сумку попросит открыть – таковы правила. На втором этаже не было решеток. Спустилась на этаж. Открыла окно в туалете… и медлила, боясь расстаться с картофелиной. Бросила, наконец. Она бесшумно упала на клумбу, откатилась, стала невидимой.

Охранник подозрительно оглядел меня.

– Переночую дома, – смогла улыбнуться я.

Ползая на четвереньках в темноте, я переворошила клумбу и ближнюю брусчатку, пока не стукнулась о картофелину головой: она висела над землей. Не было времени удивляться. Удивилась, когда добралась до приемного отделения клиники и взглянула на себя. Но, как была в земле, цветочной пыльце и с летающей картошкой подмышкой, двинулась в кабинет ТиТиПи.

Дарвин встретила, словно не расставались: – Показывай!

Я развернула куртку…

Глава 3

С физиками Ромой и Левой мы готовили материалы к докладу Дарвин для симпозиума по криобиологии в Майами: характеристика экспериментального материала, методы исследования, результаты, обсуждение результатов, заключение. Все, как обычно. Никчемный рядовой доклад, украшенный качественными слайдами и шутками Нобелевских лауреатов. Чтобы закамуфлировать скудость полученных результатов за языковыми сложностями, мы занимались лингвистическими упражнениями с текстами. То есть просто играли словами. Обычная вещь в современном научном мире. Я тогда еще не знала: если науке требуются литературные украшения, то она – не наука. Вороша неумытые мысли свои, я понимала, и мальчики, наверное, тоже, что подавляющую часть научной продукции можно печатать, а можно и не. Потому что по большому счету это – ss (sad shit, как пишут в интернете), от которого никому ни холодно, ни жарко, кроме авторов и членов их семей.

Дарвин, просвещая меня, говорила, что сегодня в науке ключевая роль отведена конкуренции. Научные коллективы, обладающие знаниями, не заинтересованы в их распространении. Публикуются только результаты. Методы становятся коммерческой тайной. И это влияет на то, как делается наука.

За последний год нам не удалось серьезно удлинить сроки экстракорпорального хранения изолированных органов перед трансплантацией. Дарвин от безысходности собиралась вступить в опасную зону приступа месячных и готовилась к очередному погружению в dumpster-diving.

Чтобы отвлечь ее от песочницы Евсея, я заявилась в кабинет и вежливо попросила рассказать про шар-картофелину из цеха, которую притащила недавно. Она раскрыла глаза на пол лица, шумно похлопала ресницами и удивленно поинтересовалась:

– Какой шар?! – Но я давно выучила ее штучки и на плохом матерном английском потребовала рассказать правду.

– You think that you're so fucking awesome bitch? – поинтересовалась я. – Go and shave your arse.[30] Вы говорили: «Кто первым добежит – тому косарь!» – Я добежала. Косарь мне по барабану! Что с контейнером, который слился в шар?!

Я знала, Дарвин нравились мои истерики и грубые тексты. Похоже, они возбуждали ее больше научных банальностей, добываемых сотрудниками Лэба. Ей, как и мне, в такие моменты казалось, что ссорятся две детдомовские девчонки. И младшая атакует старшую за несправедливо отобранный пряник или яблоко. Только я ошиблась, потому что Дарвин даже не обернулась и бросила через плечо: – Get the fuck away from me![31]

Но я не собиралась уходить и уселась в кресло рядом с любимой заведующей. А она была так хороша собой в тот момент, так пронзительно красива, что многие голливудские красотки смотрелись бы посудомойками рядом с ней. И пожалела, что на мне операционное белье и что нельзя раздвинуть колени и показать большой клитор под черными в горошек штанишками…

Но Дарвин увидела и сказала:

– Ты всегда точно знаешь, когда всадить кинжал, Никифороф. – В ее взгляде не было ни прощения, ни поощрения. Только немного близорукости. – Для таких дур, как ты, вычисление смысла жизни есть один из главных ее резонов. К счастью, в среде воспитанных людей о смысле жизни говорить не принято.

---

[30] Думаете, что вы крутая коза? Побрейте задницу сначала.

[31] Пошла вон, сучка.

Я не реагировала. Удобно устроилась в кресле и, пустив корни, была готова выслушать отказ в любом формате. И, в который раз, простить ей все, и забыть про чертов шар с туфельками внутри. Но Дарвин продолжала удивлять:

– I hid this fucking piece of iron in the…,[32] – начала она, держа за пенис фигурку чугунного писающего мальчика, что стояла на столе.

В этот момент в кабинет вошел ТиТиПи: большой, как шкаф, добродетельный и благополучный, не успевший пресытится богатством своим. Сел в кресло с заботой на челе. Согнул длинные ноги, и колени сразу оказались на уровне лица. Посмотрел на меня, как смотрит ботаник на представителя фауны. Я казалась ему енотом, неожиданно свалившимся с дерева на паркет кабинета его дочери. «Приемной», – как постоянно поправляла Дарвин. Енот колол глаза никчемностью. И к озабоченности ТиТиПи добавлялось раздражение.

Озабоченность и раздражение теперь сопровождали Тихона постоянно. И если Дарвин продуцировала в нем озабоченность, то раздражение я относила на свой счет. Хотя порой мне казалось, что лишь плохой человек может быть так постоянно озабочен. У благородного в душе царит безмятежность. Только ТиТиПи никогда не давал повода усомниться в благородстве своем и интеллигентности особо высокого свойства, про которую, кажется, Белинский говорил: «Теин в чаю, букет в благородном вине». Что не мешало ему быть грубым и заносчивым, а порой просто выходить за рамки приличий и позволять себе такое, что наш детдомовский завхоз казался карьерным дипломатом.

– Я не очень хороший человек, но точно не стервятник, – донеслись до меня слова ТиТиПи, адресованные Дарвин. Будто чужой приемный папа запросто читал мои мысли. – А ты, Никифороф, ступай в коридор и постой там. Мне надо поговорить с дочерью, – закончил он. Я встала и двинулась к двери. И слышала спиной, как Дарвин препирается с Тихоном и требует, чтобы я осталась.

Для меня никогда не существовало проблемы легитимности власти ТиТиПи ни в урюпинске, ни в институте. Вопрос: «А чё это он тут раскомандовался?», для меня не возникал. Еще по детскому дому я знала, чем власть жестче, тем она легитимней. А потом, уже в универе, поняла, что единственным источником легитимности власти служит сама власть.

ТиТиПи, похоже, знал это не хуже меня. Пользуясь легитимностью своей, он заново обустроил урюпинск, создал институт, наш Лэб, определил его тематику и сделал все, чтобы мы пребывали в комфортных условиях, решая поставленные задачи. А мы не решали. Может, из-за мелочей, о которых говорил нам ТиТиПи. Но если поставленные задачи не решались, несмотря на вбуханные деньги, то, либо мелочи были не мелочами, либо задачи были сформулированы неверно. И тогда победа – поражение. Cash for trash…

– Хорошо! Пусть остается, – услышала я у дверей. Вернулась. Замерла столбом возле Дарвин, готовясь защищать ее, хоть не знала от кого. А когда услышала вопрос Тихона про контейнер с водой из «Барселоны», который исчез после взрыва, сильно обеспокоилась собственным спасением. Стала суетиться. Но более всего сожалеть, что не вышла вовремя в коридор.

А он подлил масла в огонь, многозначительно поглядев на нас с Дарвин:

– Если ошибку можно исправить, значит, вы ещё не ошиблись, девочки. – Встал с кресла. Распрямил колени. И, почти коснувшись головой потолка, добил: – Чтобы вечером контейнер лежал у меня на столе.

Дарвин закольцевалась и не слушала отчима, лишь осторожно касалась пальцами крохотного чугунного пениса. И мысленно все глубже погружалась в предстоящий дауншифтинг с Евсеем, в котором неправильно питалась вместе с ним разбавленным спиртом, пропахшим формалином. Я как-то попробовала открыть ей глаза на происходящее:

[32] Я спрятала эту железяку в…

– То, что вы делаете с Евсеем, доктор Дарвин, так же похоже на дауншифтинг, как сперматозоид похож на человека. Это, скорее, dumpster-diving. – Дарвин обиделась, но ходить не перестала…

Под прицелом я осталась одна. ТиТиПи не мог не воспользоваться моментом. Оглядел с ног до головы, на ходу раздевая глазами. Хотя раздевать-то было всего ничего: синие лабораторные штаны и рубашка. Я не переживала, потому что рядом сидела Дарвин. И папочка при всей отвязности не отважился бы залезть мне в трусы. Только у Тихона в тот момент было другое на уме:

– Есть ли что-нибудь достойное обсуждения в докладе Доры, который вы готовите хором? Что-то положительное, за что можно уцепиться и вытащить весь доклад… всю тему?

Обиженная сексуальным пренебрежением Тихона, я собралась ответить, что подобные вопросы директор института не должен выяснять в компании простой лаборантки. Однако подошла. Прижалась почти вплотную к огромному Тихонову животу и, трудно подбирая слова, выдала текст, не хуже, чем Дарвин на недавнем собрании челяди Лэба:

– Пока, как вам известно, даже бигли дохнут от наших стараний. На этом фоне говорить о заметном продлении жизни обитателям кремля, если вы это имеете в виду, не приходится.

– А не так заметно, можно? – ТиТиПи угасал на глазах.

– Можно, если они разрешат свободные выборы, будут заниматься спортом, пить понемногу, перестанут принимать антиоксиданты и не будут переедать. Но тогда ваш план потек: вы – не при делах, мы – тоже.

– Что ты себе позволяешь, Никифороф, мать твою! – заорал ТиТиПи, возрождаясь. И Дарвин начала приходить в себя. А меня уже было не остановить:

– А еще мы можем заметно открыть глаза, и не только мировому научному сообществу, на то, что постояльцы кремля не достойны вечной жизни, даже если нам когда-нибудь удастся получить структурированную воду. Никто не достоин.

ТиТиПи не пожелал втягиваться в дискуссию с лаборанткой и влепил мне затрещину. Я упала и ударилась лицом о кресло. Глаз начал сразу заплывать. Но я продолжала моросить уже с пола, чувствуя себя то Жанной ДАрк, то Новодворской.

– Если бы вы не втюхали Дарвин в качестве научной проблемы заведомо провальную шнягу, о бесперспективности которой твердит мировая наука, мы не стали бы ввязываться в эту авантюру, тухнуть на службе и пудрить кремлевской публике мозги несбыточными косяками.

– Заткнись! – ТиТиПи больно ухватил меня за руку и потащил за собой. Чтобы не волочиться следом по полу, я кое-как успевала перебирать ногами и даже временами повисать на нем. И продолжала задираться:

– Воду из-под крана невозможно структурировать в живую, дарующую бессмертие. Как ни старайся. Любую другую – тоже. Это шарлатанство чистой воды. – И была уверена, что дотащив до входных дверей Лэба, Тихон швырнет на мраморные ступени и вернется к Дарвин. Но он тащил меня дальше, положив болт на все. Теперь уже по брусчатке. И я начинала догадываться, куда и зачем…

Сейчас было самое время попользоваться мной, вместо престарелой Тихоновой жены. Странно красивой, как бывают красивы богатые женщины на старинных фотографиях или полотнах: молчаливые, загадочные и недоступные всегда. А Тихонова половина к тому же была необычайно холодна и умела держать дистанцию. И заговорить с ней или просто поздороваться, мог отважиться далеко не всякий, даже на теннисных кортах, куда она приезжала на кабриолете Maserati класса люкс.

Между тем, наше с Тихоном путешествие по брусчатке затягивалось. Я терялась в догадках, куда он тащит меня, потому что административный корпус клиники, где был его кабинет,

мы давно прошагали. Охранники, что в отдалении тащились за нами, тоже недоумевали, но приблизиться не решались.

Мы остановились перед входом в огромный трехэтажный корпус лаборатории сравнительной генетики поведения, которой заведовал урюпинский священник, отец Сергий, в миру – доктор биологических наук, профессор Даниил Федорович Козельский, по прозвищу Данила Козел. «Значит, «чуть не поимел» – это не про меня сегодня. Значит, насиловать не будет: ни один, ни с помощью охранников», – подумала я, не зная – радоваться или сожалеть.

Тихон бросил меня у дверей: массивных двустворчатых деревянных ворот с резьбой по периметру, обитых снизу медными листами, как в фильмах про вампиров. Вошел внутрь, не обернувшись. Охранники, выдержав паузу и посовещавшись, подошли. Поздоровались осторожно. Взяли подмышки – сама я идти уже не могла – и затащили в холл. Я весьма смутно представляла себе сравнительную генетику поведения, особенно при таких масштабах исследовательской лаборатории, где на каждом этаже могло разместиться по танковому батальону. И, приходя в себя в обществе охранников, пыталась угадать, какую пакость готовит ТиТиПи?

Через бесконечные системы индивидуального контроля меня завели в огромное помещение на втором этаже с центрифугой в дальнем конце почти бесконечного пространства. В таких центрифугах закручивают космонавтов в предполетной подготовке. «Не в космос же он собрался меня запускать, вместо биглей», – билась в голове шальная мысль. Я вообще перестала соображать от неизвестности и страха, зная возможности, мстительность и силу воображения ТиТиПи. И групповое изнасилование казалось подарком судьбы.

Меня раздели. Отправили в душевую. Вернули. Уложили на операционные стол. Какие-то люди в оранжевом белье принялись брить лобок и подмышки, хоть я сама брила там вчера. И умирала от страха и стыда, и чувствовала, как медленно схожу с ума. «Что он станет делать: вырежет почку, потому что парный орган? Легкие тоже парный орган, – с ужасом думала я. – Что еще парное? – И не вспомнила ничего, кроме рук и ног. – Ну, руку он точно ампутировать не посмеет», – пыталась успокоить я себя. И понимала, что посмеет.

I have got the PMS[33] и менструация должна была начаться с минуты на минуту. Мысль об этом не добавляла оптимизма. А потом вспомнила, что грудь тоже парный орган. Свою я ценила и гордилась, несмотря на небольшие размеры, потому что понимала, если меня кто-то полюбит, то точно не из-за сисек. А с одной я вообще полная уродина. Только если Тихон собрался ампутировать грудь, почему эти придурки бреют лобок?

Я увидела Тихона. Он тоже был в пугающей оранжевой робе, как на жертвах террористов ИГИЛ перед казнью. Подошел. Погладил по голове. Уставился на клитор и долго молчал. И пока молчал, я проникалась совершенно безумной всепрощающей любовью к нему. И начинала любить в нем все: лицо, одежду, тело, которое никогда не видела. И понимала, что виновата во всем сама. И что надо было слушать его, а не Дарвин, и что…

– Ты мне скажешь, где капсула, Никифороф, и уйдешь отсюда, – сказал ТиТиПи, перестав рассматривать мои гениталии. – И выйдешь в должности заведующей лабораторией физиологии возбудимых мембран. Это как раз по твоей части. Без всякого конкурса. Решай! Он так старательно домогался, будто речь шла о пусковых кодах ракет враждебной страны.

Я впервые почувствовала себе переоцененной. Ах, как я любила ТиТиПи в тот момент, как прощала ему все. «Возьми меня, пожалуйста, миленький Тихон, и поимей! И охранники пусть дрючат, – хотелось сказать мне. – Только не надо оперировать. Боли боюсь до смерти». – И увидела начальника службы безопасности института. The dolt officer стоял рядом с Тихоном и был печален.

И сказала: – Не знаю, про что вы, Тихон Трофимович! Никакой капсулы я не видела, чтоб мне сгнить на этом операционном столе.

---

[33] У меня был предменструальный синдром.

– Можешь не отвечать, если очень не хочешь, – согласился Тихон.

– Я размышляю, – ответила я. – Размышляю о том, что все мы жертвы или палачи. И выбираем эти роли по собственному усмотрению. Достоевский и маркиз де Сад понимали это лучше других. А чтобы выбрать правильную роль, надо всего лишь правильно выбрать сторону. Я сделала выбор и готова принять руководство лабораторией возбудимых мембран. Уверена, что справлюсь…

Меня не дослушали. Переодели в оранжевую форму, как на остальных. Сняли со стола и покатили к центрифуге. Усадили в удобное глубокое кресло. Привязали. Подключать ЭКГ, датчики электроэнцефалограммы и давления не стали. Даже пульсоксиметр на палец не надели, а просто оставили одну.

«Что ж, – подумала я: – буду тухнуть в центрифуге». И заорала сразу: – Я все скажу! – Задергалась в кресле и почувствовала наступление месячных. – Тихон Трофимыч! Миленький! Не включайте центрифугу! I have the period! У меня менструация началась. Умру от маточного кровотечения!

Заработала мигалка. Яркие вспышки били по голове, будто молотком, сквозь зажмуренные веки. Центрифуга сдвинулась с места. Сделала первый круг. Помедлила и принялась набирать обороты. Через пару минут нагрузки прижали тело к креслу и принялись выдавливать из матки менструальную кровь, которая горячей струйкой потекла из меня, обжигая ягодицы и бедра.

Спасение пришло неожиданно – я потеряла сознание. А когда оно ненадолго вернулось, осознала себя в бесконечно холодном и темном пространстве под или над землей, в замкнутом давящем склепе, с шумно падающими каплями с потолка, или в бездонной галактической пустоте с едва видимыми звездами. Я не лезла на стены, обламывая ногти о каменную кладку, не перемещалась в пространстве, не летела с заданной целью куда-то, а просто пребывала там, как пребывала в холодном и темном подвале Вера Павловна в первом сне своем в романе «Что делать?». Меня тоже зовут Вера Павловна.

Тело утратило материальную структуру, по крайней мере, ту, что с помощью коллайдеров могут идентифицировать в микромире специалисты-физики. Я растворилась. Исчезла. Но душа, если она была у меня, конечно, и мозг продолжали функционировать, и через широкополосный интерфейс получали в доступных терминах информацию о событиях давней давности, что случились на земле, когда она была «безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух Божий носился над водою». И вся вода, что была в океанах и в реках, и в морях, была другой – структурированной, доставленной на землю метеоритами и кометами вроде кометы Чурюмова-Герасименко. И дождь шел из другой воды, и снег, если шел. И организмы первых рыб и птиц, зверей, а потом и людей, несли в себе другую воду Она была в плазме крови, в тканях и органах, во внутри- и внеклеточной жидкости, в лимфе, в околоплодных водах, слезах, моче…

Эффекты другой воды привели в ту пору к появлению животных гигантских размеров, вроде динозавров и мамонтов. И людей-великанов, гигантские кости которых до сих пор находят по всему миру: лемурийцев, атлантов… первых арийцев, ростом не ниже трех метров…

Другая вода позволяла нашим прародителям, чьи образы кажутся зыбкими, как Протей, не только дружить с динозаврами, но совершать поступки, которые нам не снились. Они обладали знаниями об устройстве Вселенной, ее прошлом и будущем. Запросто, будто свои, читали чужие мысли. Перемещались во времени. Искажали пространство. Управляли гравитацией. Добывали энергию из атмосферы. Умели делать много чего другого, что позволено только богам.

Возможно, они и впрямь были богами – те, в ком уцелела другая вода после того, как она стала исчезать из океанов и живых организмов, разводимая обычной водой, которую доставляли на землю другие метеориты и другие кометы, а позже дожди. А когда другой воды на планете не осталось, люди-великаны, в ком сохранилась структурированная вода, обособились

и поселились на Олимпе, предпочтя инцест кровосмешению с представителями человеческой расы. И распоряжались оттуда судьбами людей, как Зевс, или совершали подвиги, как Геракл. Воевали. Охотились, как прирожденные аристократы. Влюблялись друг в друга. Изредка спускались на равнины в образе богов или пришельцев с других планет, чтобы позабавиться самим, позабавить людей и упорядочить хаос, когда тот заходил слишком далеко…

Только инцест делал свое дело. Боги умирали, вопреки вере в их бессмертие. А когда поумирали все, люди на равнине придумали взамен другого Бога. Одного, не обладавшего узкими специализациями, как боги Олимпа, но взявшего на себя ответственность за гармонию и порядок в Мирозданье.

В Иисусе, что появился на свет на десятки тысяч лет позже, похоже, тоже была другая вода. Она текла по сосудам вместе с форменными элементами крови и плазмой, и позволяла ему делать то, что делал. Одно из чудес Он явил в городке Кана в Галилее, превратив воду, что была в кувшинах, в вино на глазах ошалевших гостей. А до этого в Капернауме в присутствии местных рыбаков и учеников прошел как-то странно по воде Тивериадского озера, и оно не расступилось, удержало его на поверхности. К сожалению, воскресение самого Иисуса другая вода не обеспечила. Только отъезд на небеса. Но этого хватило, чтобы сделать его сыном Божьим…

Я продолжала оставаться Верой Павловной, только не знала, какой: Розальской В.П., придуманной Чернышевским, или Никифороф? Я была раздавлена центрифугой и страдала от кровопотери, запертая в сыром холодном подвале. Кто-то коснулся моей руки. Подняла голову и увидела девушку в урюпинских полях. В ней все беспрестанно менялось: лицо, походка, одежды, даже национальность. И с благодарностью, и слезами догадывалась, что это Дарвин пришла выручать меня из беды.

– Откройте глаза, Вера! – повторяла Дарвин раз за разом, теребя плечо. А у меня не было сил сказать, что глаза открыты, только не вижу ими. Зато слышала, как Дарвин с присущим ей пылом обличает Тихона в бандитской жестокости. Только лексикон казался странным. А когда зрение вернулось, увидела подле себя отца Сергия, в лаборатории которого надо мной только что совершил аутодафе ТиТиПи.

– Я этого так не оставлю, Тихон Трофимыч! – непривычно орал завлаб Козельский. – Я направлю докладную в президиум академии! Вы возвращаете в институт средневековые нравы! Фашизм! Господь покарает вас. Непременно! И вы будете знать, за что! Ибо сказано в Писании: *«Не давайте места дьяволу в себе. Злоба человека не творит правды Божьей».* Он выкрикивал еще что-то в праведном гневе про Тихоновы миллионы, нажитые неправедным трудом, но я уже не воспринимала чужие речи. И чувствовала себя, как на корте, при счете forty – love в пользу соперника. А у него три тай-брейка на своей подаче в сете. Но он нервничает не меньше моего, потому что понимает: мне терять нечего. И если выиграю, все может пойти по-другому, несмотря на вопиющую разницу в счете.

Отец Сергий забрал ракетку из рук:

– Попробуй встать, детка, Не можешь? Почему?

Я все-таки встала, путаясь в менструациях. Голова закружилась. Я зашаталась и, теряя сознание, свалилась на пол…

Видимо, ТиТиПи поднял меня на руках, потому что услышала, как доктор Козельский снова заорал:

– Не смейте прикасаться к ней! Вызовите гинеколога, бесы! – Это уже к охранникам. – Нет! Я сам. Я сам доставлю ее в отделение. – О последующих событиях я узнавала по частям. От разных людей. В разное время.

Отец Сергий на руках притащил меня в гинекологическое отделение института, что было неподалеку. Хотя с его телосложением – он казался мне то длинной удочкой-спиннингом, то плоской линейкой такой же длины – и физическими возможностями этот путь был неблизким,

мягко говоря. По дороге я вспомнила его институтское прозвище: «Данила Козел». Хотела улыбнуться и не смогла, но понимала, что на этот раз мне удалось унести ноги.

Гинекологи не справились с маточным кровотечением. Эндометрий матки на пике менструации походил на губку, напитанную кровью, из которой Тихонова центрифуга выжимала ее, будто прессом. А потом уже было все равно: запустились механизмы патологического процесса, и матка продолжала также интенсивно кровоточить, словно центрифугу никто не выключал.

Гинекологи полезли в живот. А там весь малый таз с маткой, трубами и яичниками, мочевым пузырем и прямой кишкой, вся тазовая клетчатка были имбибированы кровью так сильно, что ткани не дифференцировались. Тогда Тихон велел позвать Зиновия Травина, и голос его дрожал…

Я пребывала в гиповолемическом шоке и периодически всплывающим сознанием своим перебралась в детский дом, что совсем в другом урюпинске. За тысячу километров отсюда на северо-восток. Меня определили туда родители: мама и папа или кто-то из них. Странно, но мама меня не интересовала.

Я – в пятом или шестом классе и сейчас узнаю все про себя, своих родителей… и смогу, наконец, написать честное резюме. Переминаюсь в пустом коридоре в ожидании неведомой подсказки. Смотрю на стоптанные сандалии. На дырку в чулке, там, где большой палец.

Ко мне вперевалку приближается старуха. Высокая, грузная, с полоской густых усов, с кучей бородавок. Подходит. Замирает. Вынимает из кармана пачку сигарет в плоской бумажной упаковке красного цвета. «Прима», – узнаю я. Закуривает. Сплевывает крошки табака и говорит, картаво раскатывая «р»:

– Здравствуй, Вера Павловна! Где ты шляешься? Опять на яблоне спала? Папка с личным делом твоим в канцелярии. Только там ничего нового не прибавилось. Хочешь взглянуть?

«Хочу», – пытаюсь сказать я, но губы не двигаются и язык тоже.

– Хочешь? – снова интересуется старуха. Я вспоминаю, что зовут ее баба Фаня. Фанька, как зовем мы ее за глаза. По паспорту – Фаина Зусмановна Зеттель. Вспоминаю, что напившись, а напивалась баба Фаня строго по пятницам, захватывая субботу и часть воскресения, она впаривает нам тексты Торы. Все эти многочисленные заповеди числом в 613, которые помнила назубок, будто держала в себе USB driver. Только простые тексты Торы не давались нам в понимание. Дети выдерживали не более десяти-пятнадцати минут невнятного бормотания, несмотря на бесплатные сигареты. Лишь я терпела пытку текстами до конца, пока Фанька, наконец, не засыпала…

При желании я могла вспомнить все 613 заповедей, но это не доставляло удовольствия. Большинство заповедей казалось совершенно бессмысленными. Некоторые были настолько очевидны, что не заслуживали специального рассмотрения. Другие, наоборот, настораживали, даже пугали безграничной, почти космической пустотой, недоступной моему пониманию.

«И благословил их Творец, и сказал: плодитесь и размножайтесь», – гласила первая заповедь Торы, ясная и понятная двенадцатилетней девочке. *«Соблюдай завет Мой. Да будет обрезан у вас всякий мужчина».* Эта тоже была понятна, поскольку Фанька успела просветить меня по поводу ритуала обрезания у евреев. А тезисы про козленка: *«Не вари козленка в молоке матери его»* и *«По струпу не брить»,* удивляли невнятностью описанных процедур. По поводу заповеди *«Не стригите краев волос вокруг головы вашей»,* мне всегда хотелось спросить: – Почему? – Следующие две заповеди: *«Ни к какой единокровной не приближайтесь, чтобы открыть наготу»,* и вторая, похожая: *«Наготы дочери твоей не открывай, ибо твоя нагота она»,* вызывали странное возбуждение непонятной запретностью. А потом догадалась, про что они. Про Тихона и его отношения с Дарвин, что любила подчеркивать свой статус падчерицы…

И вдруг с поразительной ясностью осознала невероятное: этот сукин сын мучитель Тихон – он и есть мой родной отец, которого искала всю жизнь. И сразу факты, и их интерпре-

тация, и события, случившиеся в этой связи, и не случившиеся, и поступки Тихона, и мои, и Дарвин, и близких друзей наших, агрегировали и выстроились в совершенно безумную, доказательную и бездоказательную цепь, подтверждавшую такую возможность… и столь же решительно отвергавшую ее. И колоколом, тревожащим душу и тело, прозвучало, еще не осознанное до конца: знает ли он? Хотя, какое это имело значение?

Он просто не мог не быть моим отцом. Оставляя в мозгу глубокую борозду, пронесся короткий клип с саундтреком из «Бременских музыкантов»: Тихон, молодой и счастливый, спускается по ступенькам родильного дома со мной на руках. Рядом женщина с цветами. Видимо, мать.

Я прозреваю и начинаю понимать, почему меня так бесило, когда Дарвин называла Тихона папой. Во мне смешались, как это бывает у девочек, мучительно прекрасная и пронзительно чистая любовь к нему, смешанная с не менее сильным сексуальным влечением. И сразу всплывают из Торы знакомые строчки про наготу единокровной, которую лучше не открывать.

– С чем пожаловала, Верунчик? – напоминает о себе баба Фаня.

– Расскажи, как я попала в детский дом? – прошу я, хоть знаю историю эту назубок. Фанька соглашается. Идет в кладовку за водкой. Возвращается. Отпивает. Дает мне сделать глоток. Закуривает. Протягивает вторую сигарету. «Боже мой! – с ужасом думаю я. – Неужели в двенадцать лет я могла выпить водку из горла и выкурить сигарету? Дарвин тоже могла, – успокаиваю я себя. – А забавы с гениталиями, которые мы позволяли, не зависимо от того, кто твой партнер: мальчик или девочка, взрослый мужчина или женщина? А Дарвин? Она позволяла себе подобное, невзирая на гендер? Хотя, кто спрашивал ее? И остался ли от тех далеких детдомовских утех след в ее душе, такой же болезненный и глубокий, как в моей?».

– Тебя привезли к нам из дома младенца, – продолжает баба Фаня. – С готовым именем и фамилией, придуманными там. Про коней твоих, родителей, значит, в сопроводительных бумагах ни слова. Следовательно, родилась ты в беспорочном зачатии, – пугает меня литературными текстами баба Фаня. – Хотя, мать должна быть, крути, не крути…

Мы снова отпиваем водку из горла. Продолжаем курить. Фанька смотрит на меня большими коровьими глазами, темными и печальными, как у большинства еврейских женщин. – Послушай кусочек из Будды, – говорит она, будто собралась сыграть прелюд Шопена. – Ты уже большая. И понимать должна больше, чем восьмилетняя пацанка. Не стой столбом. Сядь. – Я сажусь на пол подле нее. Она пахнет детством, скудным, почти нищенским. Но запах так приятен, так отчетлив, будто соломинкой щекочет ноздри, что хочется поселить его в себе навсегда, на всю оставшуюся жизнь.

– Страдание противоестественно, – доносится до меня голос Фаньки. – Возможно, поэтому оно составляет большую часть человеческой жизни, которая сама по себе тоже противоестественна. Страдание – даже не часть, а скорее форма существования человека. И причина страданий – неведение, как у тебя, которое служит толчком для цепи событий, приводящих к страданию. – Она продолжает и говорит, что неведение о судьбе отца, делает меня несчастной.

– Да, да! Он законченный поц, твой отец, если сдал тебя в дом младенца. Или, наоборот, святой, если сделал это. Единственный способ избавления от страданий – познание, к которому ведет «срединный путь». Но тебе это ни к чему. Тебе надо узнать, что сделал твой отец, перед тем, как сдать тебя в дом младенца, как сдавали в мое время пустые бутылки в специальные ларьки.

Баба Фаня пьяна. Она сидит подле меня на полу, вытянув длинные толстые ноги в шерстяных чулках и глубоких галошах до лодыжек. Молчит. Изредка всхрапывает, громко и протяжно, будто в последний раз. Рядом валяется пустая бутылка. А я, погрязнув в ее пьяных текстах про страдания и несчастья, которые и есть форма существования человека, стараюсь выбраться из них. И вспоминаю, что счастье не только в том, как ты живешь и чем владеешь, но также в том, как ты относишься к этому.

– Знание, как любая наука, всегда сакрально, – внезапно заявляет баба Фаня, не открывая глаз.

Я вздрагиваю, вспоминаю Дарвин, и хочу возразить, но Фанька продолжает, не обращая не меня внимания:

– Сакрально, потому что представляет ценность само по себе. Наука, о которой печешься, не может быть частной собственностью. Если человек сделал открытие, оно тут же, as if on purpose, приобретает характер всеобщего достояния, как теория относительности или хоккей на траве. Как третий закон термодинамики или доспехи для биатлона. Как, созданная Ламарком и Дарвином, теория эволюции. И все попытки сокрыть открытия от людей кончаются одинаково…

Я снова вздрагиваю, потому что Дарвин, просвещая меня, говорила, будто наука в наше время, как и общество, привержена рыночным отношениям.

«На сегодня хватит, – думая я. – Мне пора». И ухожу, в который раз забывая спросить, откуда у бабы Фани хороший литературный язык, познания в теологии, и кто впарил ей, что наука умеет много гитик?

Я только-только успела вернуться от Фаньки Зеттель и улечься на стол, как в операционную с трудом вошел, именно вошел, а не взбежал, несмотря на мой критический статус, Зиновий Травин. Он и не мог вбежать, поскольку к вечеру обычно бывал мертвецки пьян. В этот день тоже. Однако подошел. Склонился. Сначала надо мной. Потом над операционной раной. Попросил убрать салфетки. Постоял. Помолчал, будто я не умирала. Надолго застыл над листками с анализами. Поинтересовался осторожно: – Что стряслось с больной?

Blockhead[34] ТиТиПи схватил его за плечи и заорал матерное про не купируемое кровотечение в моем малом тазу, про придурков-гинекологов и что, если Зина сейчас же не придет в форму, он прилюдно набьет ему морду, а потом подаст в суд за неисполнение врачебного долга.

Зина не повел бровью. Без усилий высвободился из объятий Тихона, хоть был на голову ниже. Посмотрел на операционную сестру. Та сразу поняла молчаливую команду. Кивнула санитарке и через минуту Зиновий цедил сквозь стиснутые зубы операционный спирт…

Ему и впрямь было трудно в моем малом тазу. Кровотечение не останавливалось, хоть толпа доноров у кабинета переливания крови не уменьшалась: столько, сколько вливали в меня свежей донорской крови, столько и выливалось обратно через матку, трубы, яичники, жировую клетчатку… Кровоточили даже губчатые кости таза.

Зиновий смог найти и перевязать в кровоточащем месиве внутренние подвздошные артерии. Ампутировал матку. Но кровотечение продолжалось. Все понимали, что у меня тромбогеморрагический синдром и лили, лили препараты, повышающие свертываемость крови. Но синдром не купировался. Патологические механизмы, запущенные центрифугой, нарастали. Все тазы вокруг операционного стола, включая мой собственный большой таз, были переполненными салфетками с кровью.

– Введите ей гепарин, – попросил Зина.

– Ты спятил, придурок! – снова принялся орать ТиТиПи. – Гепарин усилит кровотечение! Тогда лучше цианистый калий!

– Он перевел дыхание и продолжал с новой силой: – Алкоголь убил все клетки твоего мозга, мудак!

– Только те, которые отказывались пить, – смог улыбнуться Зина. Повернулся к анестезиологам и повторил: – Один миллилитр! – И принялся за экстирпацию матки, когда вместе с маткой убирается вся клетчатка в тазу вместе органами малого таза, будто у меня там рак с метастазами.

[34] Долбанный.

Только кровотечение продолжалось. Я казалась им бочкой без дна. И себе тоже. Давление выше сорока не поднималось, хоть донорскую кровь лили в четыре вены сразу. Я лежала, ни жива, ни мертва, и занималась тем, что возвышалась в собственных глазах от всеобщего внимания и заботы. В нашей стране, где жизнь человека во все времена ничего не стоила, несмотря на интеллигентские бредни, будто жизнь каждого бесценна, возня вокруг операционного стола сильно выходила за общепринятые рамки, удивляя институт и меня. И сожалела, что слишком легко доставалась всем. И Дарвин в том числе.

– Организуйте прямое переливание, – попросил Зиновий Тихона.

– Я готова! У меня первая группа. – Бесконечно одаренная Дарвин, вместе с Зоей Космодемьянской, Валентиной Терешкой и Марией Кюри-Склодовской шагнула вперед. Ей было известно, что Склодовская, исследуя радиоактивность, облучала себя урановой рудой, что была дважды лауреатом Нобелевской премии. Но вряд ли знала, что Мария вместе с мужем отказалась патентовать открытие радиоактивностии предоставила его безвозмездно человечеству. Правда, урановая бомба оказалась не самым лучшим решением. Только люди всегда, даже в самых мирных открытиях, искали возможность милитаристского использования. Возможно, другую воду ждала та же участь.

Дарвин уложили на соседний стол. Соединили катетером локтевую артерию с моей бедренной. Сняли зажимы и кровь из Дарвин потекла в меня.

– Сколько можно взять? – склонился к ней врач-трансфузиолог.

– Пока не потеряю сознание.

Зиновий Травин не зря слыл отличным хирургом. По мне, так он был просто гениален. И также гениально корригировал мой гомеостаз. Я быстро поправлялась и не сожалела, что не смогу иметь детей, как заверила меня сучка гинеколог, заведовавшая отделением. Зато им никогда не попасть в детский дом, успокаивала я себя. Это было слабым утешением, но другого найти не могла.

– Кем вам приходится Тихон Трофимович? – поинтересовалась гинеколог во всем крахмальном и гнусно улыбнулась.

– Отцом родным, – заверила я злорадно. – Дочь от первого брака. – И подумала, что, возможно, не далека от истины.

Гораздо сильнее, чем дети, меня беспокоило отсутствие яичников и бездна там, где у нормальных людей матка. Вернется ли либидо? Воротится ли желание целоваться с Дарвин, заниматься любовью с мужчинами, или оргазм станет недостижимым? В нынешней жизни секс занимал не слишком много места. Он был даже меньше, чем просто «стакан воды», как полагала когда-то Жорж Санд, подружка Шопена. А для Дарвин… Дарвин однажды заявила: «Приятно сознавать, что все удовольствия мира – у тебя между ног». Только для нее секс тоже был не важнее апельсинового сока и бутерброда с сыром. Но если целый день во рту ни крошки, бутерброд становился смыслом жизни.

Через два дня меня перевели из реанимации в палату. Утром появился Травин. Велел вытащить все катетеры. Заставил встать, сделать несколько шагов. Я впервые смогла осмотреть палату и поразилась ее великолепию, потрясающему постельному белью, ящику во всю стену, кондиционеру за спиной и вазе с фруктами. Кому готовил ТиТиПи эти апартаменты?

Мы стояли посреди палаты. Я судорожно цеплялась за Травина и было безумно влюблена в него. Так может быть влюблена девочка в живого киношного героя, прискакавшего за ней на коне в детский дом, чтобы увезти оттуда навсегда. Прижалась к нему. Травин не гнал прочь, как обычно. Даже не отстранился. Я подняла лицо, подставив губы для поцелуя, и замерла в ожидании. Голова кружилась все сильнее. Подгибались колени. Когда губы Травина, наконец, коснулись моих, я собралась очутиться на седьмом небе от счастья…

Только ничего не случилось. Травинские губы, с колючими волосками по краям, касались моих. Мешал нос. Небритый подбородок царапал щеку. Я втянула в рот его верхнюю губу.

С таким же успехом можно было пососать кончик карандаша. Он коснулся ладонью щеки. Я представила, как его руки умело действовали в моем малом тазу. Желания не прибавилось. Благодарности – тоже.

– Зина, вы все убрали там? – растерянно поинтересовалась я. И вдруг поняла, яснее ясного, что яичники с их гормонами не при делах. Это прошла любовь, так и не начавшись. Мучительная и прекрасная в своей безответности, она долгое время делала меня счастливой. А теперь мне все равно: оставил он в животе немного яичниковой ткани, салфетку… или кастрация была тотальной.

А Травин, ничего не подозревая, продолжал ласкать лицо и губы, и говорил что-то. Я прислушалась:

– …и матку с клетчаткой. Часть ткани яичников оставил. Они хорошо регенерируют. – Он поднял меня. Отнес в кровать. Сел рядом. Мне показалось, от него не пахнет спиртом. Только в душе была пустота, как в малом тазу, где на месте матки зияла пропасть. И все отчетливей понимала, что мы поменялись местами. Внезапно и навсегда. Теперь Травин был влюблен безответно. И надежда на будущую взаимность ему не грозила. Но он этого не понимал, как я когда-то. И приходил по утрам и вечерами тоже. Садился в кресло у окна и говорил… Говорил про свою любовь. Говорил про жизнь, что вдруг перестала задаваться, про пьянство… Короче, в течение нескольких дней Травин пересказал мне свой анамнез. Тот, что не был занесен в его личное дело…

Он рос в интеллигентной семье северной столицы. Папа – известный терапевт в городе. Мама служила концертмейстером скрипок в филармоническом оркестре. Вместе с ним росла сестра: девочка-индиго со светлым, мудрым, завораживающим взглядом, проникающим в душу. Она вызывала в нем любопытство своими уникальными способностями, совершенно неожиданными нездешними знаниями и интересом к познанию окружающего мира. А сестра не обращала внимания. Будто нет его. Кумиром девочки, ее звали Лизой, был отец.

Лиза оканчивала школу. Зиновий Травин несколько лет, как работал хирургом в одной из клиник. Уже тогда коллеги обратили внимание на его мастерство, которое дается только годами упорного труда и только единицам.

Благополучная жизнь, как это бывает обычно, внезапно оборвалась. В автомобильной катастрофе погибли родители. К ним переехала одна из бабушек, присматривать за Лизой: грузная старуха с отечными от тромбофлебита ногами. А Лизу словно подменили. Она и раньше не любила подчиняться. Но теперь отказалась следовать общепринятым нормам. Выкрасила волосы в синий цвет. Понатыкала железки в брови, губы и соски. Остановила учебу в консерватории и принялась играть на клавишных в какой-то безумной рок-группе. Повадилась ходить с ними на кладбище к родителям.

Травин с ужасом ждал, когда она попробует наркотики и уныло твердил о пагубности этого занятия. И понимал, что с ее целеустремленностью и бесстрашием зла не избежать. Если Лиза начнет, ее не остановить. И караулил, и лазил в карманы, и нюхал одежду и воздух в ее комнате, в туалете. Только, занятый хирургией, прозевал Лизин старт. А когда понял – было поздно.

Девочка стремительно деградировала. Перестала мыться, менять одежды, есть. Клянчила деньги, напористо и зло, поражая всякий раз новыми выдумками. Когда он дежурил в клинике, приводила в дом взрослых мужчин и оставляла до утра, наплевав на бабку. А та, смущаясь, рассказывала ему про дикие Лизины выходки, стоны и крики по ночам.

Я слушала Травина и видела перед собой Дарвин, что была так похожа на Лизу. С Дарвин могло происходить тоже самое. Она была девочкой-индиго со столь же яркой симптоматикой и такими же, как у Лизы, светлыми мудрыми глазами. С поразительными способностями к языкам, что давались ей легко и просто, как иным дается таблица умножения, талантами в музыке. В скрипичных вечерах ТиТиПи она с успехом заменяла завлабшу Наташку Кипиани,

которая болезненно переносила свои менструации, запивая их лошадиными дозами красного грузинского вина и обезболивающими.

Травин любил свою сестру и ненавидел. Презирал и восхищался стойкостью и силой духа, что позволяли ей выносить всю эту адскую жизнь, полную грязи, страданий и боли. И сотни раз пытался остановить ее. Водил к психологам, психиатрам, гипнотизерам, наркологам, экстрасенсам. И, удивительное дело, Лиза охотно ходила с ним туда. Только, что для нее врачи и колдуны? Она легко переигрывала их на их же поле, безошибочно парируя попытки поставить ее в тупик.

Однажды, наплевав на дела, он заехал домой рано утром после очередного ночного дежурства. Бесстыдно раздвинув ноги, Лиза лежала голой на смятой замаранной постели. Только спущенные чулки. В ногах валялся зачуханный мужик в дырявых носках и громко храпел, пузыря слюной.

Бормоча ругательства, он схватил мужика за ноги, протащил до дверей и выбросил на лестничную клетку. Вернулся. Лизы спала. От наркотиков и пьянства лицо ее постарело, стало серым, с отвратительным синюшным оттенком, как у пьянчуг, что ошивались во дворе их дома, где был гипермаркет. Но глаза, удивительно большие и чистые, глаза счастливого ребенка, с прежней проницательностью и мудростью смотрели на него.

И еще не понимая, что произойдет сейчас, но, уже готовясь к неизбежному, с какой-то посторонней жадностью рассматривал закостеневшее в худобе немытое тело с синяками и следами множества инъекций…

Ему показалось, она сказала:

– Ляг рядом… как папа.

Не стал переспрашивать. И, как был, в ботинках, костюме и галстуке, улегся в грязную постель. Замер, боясь дышать и пошевелиться. Лиза повернулась к нему. Положила руку на грудь. Сказала:

– Папочка…

Они пролежали без движений несколько часов, Он забыл, что на столе в операционной его ждет больной и был готов ввести себе любой наркотик, лишь бы лежать рядом с ней бесконечно. Но Лиза так не думала. Села в постели, прикрыв исхудавшие грудки руками, и потребовала: – Сними галстук…

Она первой остановила движения. И молча лежала, и не старалась осознать случившееся. А он казнил себя. С каждой минутой сильнее, понимая, что совершил ужасное. И с содроганием, и отвращением к себе и к ней отвернулся и закрыл глаза, ожидая ответной реакции. Время остановилось.

Спустя час или два, или день, поглаживая голую грудь и живот в зарослях жестких волос, Лиза снова попросила: – Сними галстук!

Он уже знал, что делать. И то, что грязные простыни с потеками чужой спермы, и нищенский запах немытого Лизиного тела, и то, что они брат и сестра, придавали их действиям особые смысл и изыск, как казалось обоим.

Он провел в комнате Лизы безвылазно несколько дней. Потом отмыл ее. Убрал комнату и впервые спустился вниз за едой. Они сидели на кухне. Оба счастливые. И набивали рот бутербродами с лососем, копченым угрем и испанской ветчиной. А напоследок съели дыню.

Лиза переродилась. И как-то сразу. И была счастлива любовью своей. А он? Был ли счастлив? Или мысль об инцесте грызла душу? Или угрызения в содеянном постепенно слабели, как слабеет от постоянства боль в спине?

Он все сильнее привязывался к Лизе и утешался тем, что случившееся было единственно возможным способом спасти ее. А когда понял, что влюблен, отчаянно и безоглядно, было поздно менять что-либо.

Я слушала Травина и вспоминала тексты Фаньки Зеттель из Торы: *«Ни к какой единокровной не приближайтесь, чтобы открыть наготу».* И еще: *«Наготы дочери твоей не открывай, ибо твоя нагота она».* И понимала, что ни Травин, ни Лиза Тору не читали…

Они стали жить, как муж и жена, только ненормально влюбленные. Медовый месяц не кончался. Они не замечали молчаливую перепуганную бабку, которая не желала разговаривать и обсуждать случившееся. Она просто не видела их. Лиза добавляла: «В упор». Лишь готовила еду, а потом уходила к себе. Усаживалась в кресло с очередной толстой партитурой на коленях и, помахивая рукой, выводила мелодию. И чахла день ото дня. Перестала ходить в консерваторию. А потом пристрастилась к алкоголю. Покупала коньяк. Наливала в чайник для заварки и тянула мелкими глотками целый день.

А однажды, напившись, без стука вошла к ним в спальню и увидела то, что должна была рано или поздно увидеть. Хотела сказать что-то. Не смогла. Прикрыла рукой лицо. И стояла так, пока не упала. Травин подбежал: пульса не было, дыхания тоже. Он пытался реанимировать, но бабка не хотела жить.

Лиза плакала и повторяла: – Это я убила ее. Я!

– Да, топором…

Травин продолжил свои хирургические подвиги. Стал заведовать отделением. Защитил докторскую. И по-прежнему каждый вечер спешил домой, чтобы поскорее обнять Лизу и погрузиться в бездонные глаза, как в спасение, потому что инцест непрестанно грыз душу и тело.

А Лизе было плевать на инцест, будто не знала, что это, и на косые взгляды, и пересуды за спиной тоже. Она была счастлива им. Вернулась в консерваторию. Ее фортепианные концерты собирали меломанов со всех концов северной столицы. Только играла неровно. После блестяще сыгранного концерта могла провалить следующий или вообще отказаться от выступления. Но ей все сходило с рук. Капризы лишь подогревали интерес публики.

Так продолжалось долгие десять лет, счастливых и безмятежных. Они все больше привязывались друг к другу, трансформируясь в странный двуполый организм, единый и самодостаточный во всем и всегда. Им казалось, что будут также счастливы и двадцать лет спустя. Его слава блистательного хирурга росла. Не только пациенты, но богатые и влиятельные люди искали дружбы с ним. Лиза победила на нескольких международных конкурсах…

А потом Лиза начала охладевать к нему и старалась скрыть это молчанием. Возможно, почувствовала вину, как чувствовал он. Только в отличие от него, понимала, что вместе им нечего делать двоим, и в постели тоже. И говорила: – Виноват только один из нас. Мы оба знаем, кто.

А однажды сказала:

– Жену английского короля Генриха VIII Анну из рода Болейн обвинили в кровосмесительной связи с братом, хотя, по правде, там были только намерения. Однако матери будущей королевы Елизаветы отрубили голову…

Лиза перестала пускать его в свои глаза, звать в концерты. А однажды, без тени смущения, заявила, что влюблена. Он был так потрясен, что не поинтересовался, в кого? А она продолжала, что хочет замуж, как все. Что, как все, хочет иметь детей, которых им вдвоем не завести. Он думал, что умрет от ревности и горя, и боли. Но не умер. Спасала работа. А в доме все шло своим чередом, только через пень-колоду. Они по-прежнему жили вдвоем, но прежней близости не стало, хоть иногда занимались любовью. Лиза готовилась к переезду в квартиру будущего мужа…

А потом началась какая-то возня вокруг него. Компьютер выбросил фамилию «Травин» в качестве одного из присяжных заседателей на судебном процессе. Он позвонил судье и вежливо отказался, сославшись на занятость. Но для судьи было делом чести заполучить именно его на суд…

Он являлся на судебные заседания, прихватив истории болезней пациентов, готовящихся к операциям. И, проглядывая анализы, прислушивался вполуха к происходящему. Судили трех чеченцев или дагестанцев, обвиняемых в убийстве журналиста-иностранца. И чем дольше слушал, тем отчетливее понимал, что доказательств их вины в деле нет. Что участники судебного процесса, включая судью, стороны обвинения и защиты, разыгрывают фарс перед публикой, перед присяжными, перед самими собой.

На одном из заседаний он поделился этой мыслью со старостой присяжных. А тот под большим секретом сообщил, что участь трех бандитов давно решена. Что процесс имеет важное политическое значение и призван не просто покарать виновных, но продемонстрировать общественности страны и остальному миру независимость от власти и справедливость нашего суда.

– Но они невиновны! – горячился он. – Даже я понимаю это. А про публику в зале, судей и вашу камарилью говорить не приходится.

– Какое значение для власти имеет: виновны эти люди или нет? На кону нечто большее, – вяло отбил староста.

Он отказался подписывать вердикт о виновности подсудимых. А потом дал неосторожное интервью журналистам. На следующий день его пригласил к себе судья и попытался объяснить возможные последствия такого поступка. Травин заупрямился. Его позвали в службу безопасности северной столицы и жестко потребовали дезавуировать свое заявление. Он снова отказался.

Через пару дней на его служебную электронную почту пришла чья-то ссылка на адрес в YouTube. Он механически прошел по ссылке. Открыл… Лучше бы ему этого не делать никогда. И не делать нельзя. Видеоклип в формате HD демонстрировал на весь свет, как он и Лиза занимаются любовью. Сначала в спальне. Потом в кухне на столе. Потом в ванной…

Его не задевала мысль, как им удалось? Он с ужасом думал, что сделает Лиза, когда увидит это. И всеми силами старался оградить ее от походов в интернет. Но однажды, вернувшись домой, застал сестру на кухне, перед смарт-ящиком на стене. Уставившись в большой экран, она лила в граненый стакан водку и пиво из двух бутылок одновременно и перемешивала содержимое чайной ложкой. А ящик демонстрировал подробности их давних, он точно знал, что давних, занятий любовью, сопровождая видеоряд качественным саундтреком.

На следующий день Лиза выкрасила волосы в синий цвет. Сделала пирсинг. Достала с антресолей гитару и дудку с клавишами. Допила остатки водки и спустилась вниз, где ее поджидали постаревшие рокеры. Ему показалось, что та прежняя сумасшедшая Лизина жизнь с наркотиками и алкоголем никогда не прекращалась. Что не было десяти лет счастья. Что был просто сон, но какой!

Лиза ушла в загул. А когда заявилась домой, он с трудом узнал в седой, донельзя исхудавшей женщине в обносках, с синяком во всю щеку, свою сестру Разговаривать было бесполезно. Лиза молча забрала часть денег из шкатулки в буфете и также молча ушла.

Его снова вызвали в службу безопасности. Он не пошел. Тогда в клинику к нему пришли двое и настоятельно попросили отозвать свое интервью. Он не стал разговаривать. А вечером, подъезжая к дому, обратил внимание на толпу у подъезда, на полицейские автомобили, машину скорой помощи, на открытое окно в кухне своей квартиры на девятом этаже… И уже знал, что случилось. И сидел в машине, не в силах выйти. И не потому, что боялся. И наблюдал через стекло, как тело поместили в черный пластиковый чехол, задернули молнию, прокатили на каталке и погрузили в «Скорую»…

– Дальше тебе неинтересно, – сказал Травин и не пахнул спиртом…

Глава 4

На мне все быстро зажило. «Как на собаке», – шутил Травин, понимая, что зажило еще быстрее. Однако не обсуждал ненормальную скорость выздоровления. Несколько раз приходил мой неназванный отец Тихон. Долго стоял в дверях, отбрасывая ногой ежа, что переместился со мной в апартаменты для королевских особ. Долго усаживался в кресло, погружая в него огромное тело по частям. А когда, наконец, колени и лицо оказывались на одном уровне, замирал, глядя через окно на институтский парк, в дальнем конце которого серел корпус «Массачузета» без стекол, с закопченной стеной и порушенной «Барселоной» внутри. Наглядевшись, отваживался посмотреть на меня. Вид у него был потерянный, но я успевала закрыть глаза. Только однажды он позволил себе:

– У тебя есть ко мне вопросы?

– Надеюсь, вы знали, что делаете, – огрызнулась я. Больше мы не разговаривали…

Моя дружба с ежом началась с того, что кто-то из челяди сунул его мне в сумку. Дальше – понятно: я заорала, наткнувшись в сумке на живого ежа. Трясла исколотыми в кровь пальцами. Челядь хохотала. А Дарвин изрекла, поразив произношением:

– If someone sits down on a hedgehog he immediately begins to think about his ass, and never comes to mind thinking only of the hedgehog.[35]

Я тогда от испуга или волнения не поняла, про что она. И про ежа забыла. А он не забыл и навязывался в друзья так настойчиво, что была вынуждена согласиться. А потом сама привязалась. У него была странная особенность: он ловко, как собака, ловил мух на лету и ел…

Со временем я пришла к мысли, что заимела власть над ТиТиПи. И всякий раз думала поразному, что прибыльнее для меня? Рассказать ему, что он мой отец, которого узнала, вращаясь на центрифуге, или промолчать? Только, как расскажешь, если все время лежишь с закрытыми глазами и молчишь, пока он рядом. А может пустить все на самотек, который, я была уверена, приведет и уложит меня в койку к Тихону.

Я вспоминала центрифугу и всю процедуру экзекуции, что учинил надо мной ТиТиПи, без жалости и злости к себе и к нему. Потому что могла в любой момент остановить насилие, сказав, где спрятан шар, который не прятала и про который не знала, где спрятан, переадресовав вопрос Дарвин. Но не остановила. Почему? Проверяла себя на прочность? Или, как далеко может зайти ТиТиПи в своих порочных желаниях? Хотя, почему порочных? Без его денег, без оборудования, персонала, без его смышлёной приемной дочери Дарвин ничего бы не случилось. Мы бы по-прежнему толкли воду в ступе в надежде структурировать ее. И я не стала любить Тихона меньше после его затеи.

Душа моя, особенно тело с остатками яичниковой ткани, что начала регенерировать, требовали любви, взамен утраченного Травина. ТиТиПи более всех годился на роль fuck buddy. Разница в возрасте меня не смущала. К тому же мысль, что, возможно, стану заниматься любовью с собственным отцом, подливала масла в огонь. Комплекс Электры цвел и пахнул.

А институт шатало от любопытства. Он недостатка информации сотрудники фантазировали с такой силой, что оторопь брала. Но Тихон молчал. И Дарвин молчала. Я тоже помалкивала.

В один из дней очередной визит ТиТиПи совпал с появлением профессора Козельского, что спас меня от злобного произвола директора. Я мало, что знала о нем. Знала, что настоятель одной из церквей урюпинска. Что в отличие от большинства своих коллег и кличку «Данила Козел», имеет высокую научную репутацию у ученой публики. Что пользуется доброй славой и уважением прихожан. Что слывет единственным, если не считать Дарвин, кто умеет выбивать

[35] Если кто-то сядет на ежа, сразу начинает думать о своей заднице и никогда – о еже.

из ТиТиПи деньги на ненаучные проекты вроде детского сада, приютов для бродячих собак или бездомных. А про сравнительную генетику поведения, которую исследовала научная группа под руководством отца Сергия в трехэтажном лабораторном корпусе с центрифугой, не знала ничего.

Мы все смутились втроем, будто делали запретное что-то. Завлаб Козельский от неожиданности даже попятился, бормоча извинения. Я лежала с закрытыми глазами и молчала. Тихон тоже молчал. Курил и стряхивал пепел на ковер. Он первым пришел в себя. Встал и набросился на Данилу Козла:

– Что ж ты письмо в президиум академии не отправил, Данила Федорыч, как грозил?

– Держу вас, Тихон Трофимович, не только директором института, но еще глубоко порядочным человеком. Полагаю, сможете без подметных писем разобраться в случившемся. *«Просто стойте, опоясав чресла истиной и облекшись в броню праведности».* – И собрался уходить.

– Побудь с ней, – мирно попросил Тихон и вышел из палаты.

Данила посмотрел на опустевшее кресло, сел на стул и вежливо поинтересовался:

– Как себя чувствуете, Вера Павловна? – И, предваряя ответ, продолжал без остановки: – Я справлялся о вашем здоровье. Знаю, что вы в порядке. – Замолчал, а когда пауза стала невыносимой, сказал: – Не хотите перейти ко мне в лабораторию младшим научным сотрудником на первых порах? Нам нужны крепкие ученые головы, вроде вашей. Надеюсь, ваша в эксперименте директора пострадала меньше тела. Некоторые специалисты считают, что мозг человека устроен сложнее, чем Вселенная. Полагаю, они имели в виду ваш мозг тоже. *«Ибо много званных, но мало избранных».*

Он улыбнулся и сразу исчез завлаб Козельский, аскетичный, застегнутый на все пуговицы человек в футляре. Мне улыбался умный, хорошо воспитанный мужчина. И вспомнила: воспитание – то, что остается, когда все выученное забыто. Этих людей я чувствовала детдомовским носом за версту, хоть попадались они пару раз всего. Одной из них была Фанька Зеттель… Только МаркБорисычу отец Сергий не понравился. Сразу. Он забрался в угол и пыхтел оттуда, и стучал лапками об пол, выражая недовольство визитом.

А отец Сергий излагал странное:

– Источник творческой активности человека, подлинности его бытия лежит в трансценденции, то есть в постоянном самопревосхождении, ведущем к Богу. Это стремление к Абсолюту является главной побудительной силой научного творчества и верности подлинным ценностям. Понимаете?

– Н-н-нет.

– Со временем поймете.

Тонким негромким фальцетом завлаб продолжал говорить о науке, о религии. Мне запомнился Ренан: «Наука имеет ценность лишь постольку, поскольку может заменить религию»… Чем дольше я смотрела на отца Сергия и слушала, тем сильнее он нравился мне: неприметный, одного возраста с Тихоном и, видно, не из богатых. Он сидел с прямой спиной, не касаясь спинки стула, и завораживал своими текстами:

– В будущем символы веры будет давать лишь наука.

Я закрыла глаза от удовольствия.

– Наука станет исследовать вечные наши проблемы, решения которых настоятельно добивается челове…

Священник замолчал на полуслове, будто кто-то невидимый нажал на его халате пуговицу «mute». Я открыла глаза. Он по-прежнему сидел на стуле с прямой спиной. А рядом стоял мужчина в черных одеждах и такой же балаклаве, и прижимал пистолет к голове ученого. Я собралась заорать, но второй успел закрыть мне рот ладонью в старой кожаной перчатке.

– Что вас привело сюда, господа? – как-то вяло поинтересовался отец Сергий.

– Заткнись! – сказал первый. А второй склонился ко мне и, смущаясь и испытывая неловкость, стал непривычно вежливо интересоваться, где спрятано изделие? И не к месту, и неумело вставлял раз за разом в свои тексты: «сука» и «блядь».

Я принялась суматошно перебирать, что он имеет в виду? И уже почти догадавшись… нет, доподлинно зная, что, подивилась удивительной точности определения, которое дали другой воде эти два придурка. Именно Изделие! Побывав в «Барселоне» и повстречавшись там с шаровой молнией, обычная вода после взрыва превратилась в изделие человеческих рук. Это было удивительным открытием. Мы станем исследовать теперь не другую воду, не артефакт, а Изделие, которое сами изготовили.

Забывая о придурках, о ладони, что зажимала рот, я подумала, как тонко и точно порой одно единственное слово способно придать философскую глубину нарочитому примитиву. И вспомнила из прерванной проповеди отца Сергия:

«Наука сегодня решает вопросы сиюминутные. Высокая стратегия состоит в том, чтобы объединить старания профессиональных ученых с усилиями теологов и философов. И тогда не покажется странным тезис о том, что внешние проблемы нужно решать через решение внутренних, а не наоборот».

Однако не стала вступать в дискуссию. Прикинулась шлангом и собралась сказать визитерам: «Если вы про матку мою, козлы, то ее удалил доктор Травин». – Но рот мой был зажат ладонью в перчатке. Я могла лишь мычать.

Не знаю, сколько продолжалась немая сцена, только ладонь вдруг исчезла с лица. Я смогла глубоко вздохнуть и сесть в функциональной кровати, не предназначенной для сидения. И не поверила глазам. Один из нападавших лежал, прижимаемый к полу ногой отца Сергия. А второй с поднятыми руками замер у стены и завороженно смотрел на дуло пистолета.

Если бы завлаб Даниил Козельский отрубил себе палец топором, как толстовский отец Сергий, в миру князь Касацкий, я бы удивилась меньше. А он, не повысив голоса, выговаривал что-то двум придуркам. А потом также тихо заявил: – Гребите вон отсюда! – И пока те, потрясенные случившимся не меньше меня, боком выходили из палаты, положил пистолет в карман халата и повернулся ко мне, будто ничего не случилось:

– Подумайте над моим предложением, Вера Павловна. – И добавил: – Буду рад видеть вас в церкови Благовещения пресвятой богородицы в Благовещенском переулке. – И стал прощаться. И снова засмущался, и так сильно, что я тоже пришла в замешательство…

Утром, сняв пижаму, я надевала сарафан, когда раздался стук. Подошла. Осторожно открыла. В дверях стоял утраченный Травин и не пахнул спиртным.

– Пришел посмотреть твой живот, – сказал он смущенно. – Приляг.

Я занервничала, однако легла. Задрала сарафан, приспустила трусы и уставилась в потолок. Он придвинул стул. Присел и начал пальпировать живот.

– Матку ищешь, – попыталась пошутить я. – Вчера тоже приходили… поисковики. – Он не отреагировал, но ладонь опустил совсем низко, так, что пальцы коснулись клитора. Было приятно. Травин склонился. Я смогла посмотреть ему в глаза. Он говорил что-то, невнятно и негромко. Гораздо выразительнее были руки. Странно, но трезвым и влюбленным, он был не так интересен и нравился мне гораздо меньше. Скорее совсем не нравился. Я не переставала удивляться этому. А тут вдруг поняла, что воображение просто дорисовывало недостающие черты к вечно пьяному интроверту, которые так нравились мне, потому что была автором, Пигмалионом, влюбленным в свою модель. И что та любовь была, как удар под дых, когда перестаешь дышать и теряешь разум от счастья. Я решительно встала. Опустила сарафан и собралась сказать, как его сестра, что больше не…

Травин сидел на стуле, склонившись и обхватив голову руками. Наверное, так он сидел, когда домой приходила задурившая курица Лиза. И поняла, что никогда не смогу, как она, взять и выложить правду-матку… Подошла. Погладила по голове.

– Ты не виноват в том, что приключилось с твоей сестрой, – сказала я. – И Лиза твоя не виновата. Власть виновата. Это она, ее следственные комитеты, суды, управления безопасности, полиция, народные дружины и фронты, фонды и телевизионные каналы, общественные палаты и некоммерческие организации делают с нами то, что делают.

Я была очень далека от власти. Не знала, что они курят в кремле, поэтому воспринимала их проделки, как воспринимают гололед. А став взрослой, добавила к своим ощущениям понимание того, что власть, для которой лукавство было самым мягким эпитетом, еще кормит, поит, одевает, учит, лечит таких, как я, хоть делает это нехотя, спустя рукава и не бесплатно. И продолжает при этом оставаться вопиюще продажной, беспощадной и злой. И хотелось сказать ей: «Отвяжись!»… Я утрачивала лояльность.

В такие минуты вокруг меня собиралась пустота, из которой рождается со временем все. Как родилась страна, как родилась я, детдомовская девочка Вера Павловна, которой никому не жалко. Как сказал бы отец Сергий, все случилось из-за особенностей поведения собственных генов.

Я не озлобилась, вопреки правилам детского дома, на белый свет, не стала заносчивой и эгоистичной, и реально верила во всю эту ботву про равенство людей, их почти физическую нужду в свободе, про необходимость правовых отношений между властью и людьми. Да, я могла отобрать пряник у девчонки-малолетки, но делала это лишь для поддержания собственной репутации среди детдомовской элиты. И на следующий день возвращала жертве сторицей: вместе с пряником – яблоко или конфету, что успела отобрать у кого-то другого.

«Ах, Никифороф! – хотелось заорать мне. – Ты всегда слишком легко доставалась всем». – Может быть, и легко, только я отдавала свое тело и свою душу. И не пользовалась чужими, как власть, что столетиями уничтожала и уничтожает тела и души сограждан все изощрённей и жестче, и где придется….

– Нет! – остановил мои мысли Травин, не поднимая головы. – Заблуждаешься! И заблуждения твои неустойчивы. И правды в них нет. Это я виноват. Мы все виноваты. Ты тоже. И не думай, что Дарвин, которая с удовольствием играет во фронду, пока ей позволяют, исключение.

Я представила Дарвин, что была в оппозиции к любой власти, хоть не выходила на главную площадь с плакатиком, не объявляла голодовку, не участвовала даже в молчаливых беззубых шествиях.

– «Система власти прогнила больше, чем полностью, – говорила Дарвин. – Это уже давно очевидный факт. Не надо справедливости, в которой из всех чувств, больше всего зависти. Народонаселению достаточно одной свободы. А с власти хватит того, что держу камень за пазухой и фигу в кармане».

Она улыбалась и искала рецепт спасения страны. И доводила до абсурдного завершения безумные старания самой власти, усердие ТиТиПи, рвение коллег-патриотов и не коллег, по отбиранию свобод, переделке жизни поданных, науки, политики, про которую знала только плохое. Ей казалось, что, лишь продолжая это безумие, можно продемонстрировать бессмысленность подобных усилий. И только после взрыва, а может, после центрифуги, я стала понимать… нет, начала находить логику в ее поступках. А когда поняла, все стало на свои места. Одно смущало: Дарвин в своей стратегии не учитывала, что задроченные граждане страны, в которой столетиями не было частной собственности, не в состоянии отличить свободу от несвободы, что общество чрезвычайно толерантно к нищенскому уровню жизни, что…

А трезвый Травин гнал свое:

– Мы позволяем власти вести себя с нами так, как она ведет. – Он говорил все увереннее. – Гнобить нас, оцифровывать, с каждым днем наглее и жестче, бездарнее и бесстрашнее. А в отместку поданные любят власть еще сильнее. Может быть, из-за того, что поверили, будто они – великий народ…

«Он опять примется за лабораторный спирт или, как Лиза, совершит суицид, если встану сейчас, скажу правду и уйду», – подумала я. И принялась стягивать через голову сарафан…

Мы сидели в удобных кожаных креслах со стеганными спинками за длинным прямоугольным столом хорошего дерева в библиотеке загородного дома ТиТиПи. И молча, вот уже час или два, глазели на Изделие, которое лежало на большом кузнецовском блюде тонкого фарфора. Это был округлый предмет с неровной шероховатой поверхностью серо-коричневого цвета. Размером и формой с большую неровную картофелину, предмет этот походил… он не походил ни на что земное. И к тому же излучал умиротворенность, как отец Сергий.

Тихон встал. Осторожно, будто боясь обжечься, взял в руки шар и несильно подбросил. Нам показалось, что шар невесом: так медленно он взлетел, завис на мгновение и также медленно опустился в Тихонову ладонь.

– Что скажешь, Никифороф? – обратился он ко мне. Вопрос был чисто риторическим. Однако я также идиотски-риторически ответила:

– Это – тот контейнер из взорвавшейся «Барселоны», из-за которого вы…

И сразу отреагировала Дарвин:

– Не приставай к ней с расспросами! – И подернула плечом. Ее начинало раздражать внимание, которое Тихон выказывал мне после центрифуги.

– У твоей лаборантки светлая голова.

– Введи ее в ученый совет.

– Введу, если дашь ей должность младшего научного сотрудника.

Дарвин не стала отвечать. А я, уже в который раз, дивилась ее упорному нежеланию повышать мой институтский статус.

– Вам, девочки, удалось получить поразительный по свойствам материал. Прочный и легкий. Почти невесомый. Ничего подобного на земле еще не было. Представьте, если делать из него летательные аппараты, автомобили… – Величественный и элегантный, похожий на постаревшего актера провинциального театра, ТиТиПи сурово впаривал нам, поглядывая на артефакт:

– Науке известны случаи, когда ученые, идущие к заданной цели, неожиданно получали результат, настолько превосходящий их ожидания и отличающийся от заданного, что его при всем желании нельзя было назвать достигнутой целью. Так было с открытием радиоактивности супругами Кюри. Так неряха Флеминг, никогда не мывший лабораторную посуду, открыл пенициллин, а Колумб, отправившийся за пряностями в Индию и Китай, открыл Америку.

– «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону», – сказала Дарвин, и все облегченно вздохнули, заулыбались, закивали головами, будто согласились и приняли на себя ответственность за открытие неизвестного материала, который сулил славу и деньги. И служил надежной крышей, способной защитить от провала в исследованиях по структурированию воды.

– Любопытно, черт возьми, – впервые подала голос жена Тихона, – Он полый внутри или там что-то есть?

– Кого ты спрашиваешь?

– Какого черта, Тиша! Будем считать этот вопрос тоже чисто риторическим.

ТиТиПи взял в руки шар. Постучал по нему пальцем. Звук был тупым, будто перкутировали воспаленную долю легкого. Посмотрел на Дарвин. Та пожала плечами. Посмотрел на меня.

– Все просто, – сказала я. – Если шар сплошной, то это – артефакт, возникший в результате случайного совпадения действий природных сил. И тогда относиться к нему мы должны, как к артефакту. Как относимся к Плащанице, плато Баальбек, постояльцам кремля или летающим тарелкам.

– Зашибись! – неторопливо затянула жена Тихона. Ее звали Нина Георгиевна. Нина Георгиевна Гелови-ани-Перевозчикова. Она нравилась мне. И не только умением постоянно чертыхаться, красотой и высокой породой, которые с годами становились все заметнее. Но удивительно мягким и одновременно независимым характером аристократки из рода грузинских князей, уходящего корнями в XII столетие. Этот род упоминался в летописях еще при царице Тамаре, рассказывала Дарвин. А позже дал толпу военных, политических и государственных деятелей, ученых, артистов, писателей. Только Дарвин, несмотря на прекрасную родословную, не любила приемную мать и за глаза называла Старой Сукой, хоть той было лишь немного за сорок.

– А если он полый внутри, – продолжала я, – то тогда – это Изделие, созданное руками человека. Руками сотрудников Лэба. Потому что природе такое не создать, сколько бы не корячилась. И охотники за сокровищами станут охотиться не за артефактом или самим Изделием, но за технологией его получения. – Я посмотрела на Тихона. – Те два козла, что ворвались тогда в палату ко мне в поисках волшебной лампы Алладина, были, не в пример вам, благородней и добрей…

– Остынь, Никифороф! – промурлыкал ТиТиПи, совсем не похожий на того яростного Тихона в оранжевой робе, что запер меня в центрифуге.

– Если не доктор Козельский, бандиты задушили бы меня.

– Я сказал, остынь! – начал заводиться Тихон.

– Нет уж, позвольте! – Меня одолевал зуд быть замеченной.

– До сих пор недоумеваю, как худосочный старец Козельский смог совладать с двумя вооруженными грабителями. Кто эти люди? Институтский персонал? Губернаторские бандиты? Или представители заказчика? Последним вообще незачем искать то, что им и так принадлежит по праву… Те, кто посылали их, не могли отправить на дело two unskillful morons,[36] – закончила я.

– Отец Сергий справился бы с дюжиной таких недоносков. – Тихон снова мурлыкал: – В молодости он воевал в Афганистане.

– Значит, Акела не промахнулся, – сказала Дарвин. А мне нечего было добавить, хоть ничего не понимала.

– Какое теперь имеет значение, промахнулся Акела или нет. В любом случае наша картофелина тянет на открытие. На Нобелевскую премию, независимо от того артефакт это или Изделие.

– Тихон уже не мурлыкал. Он торжествовал. Нина Георгиевна набрала короткий номер в телефоне:

– Любаша, где тебя черти носят? Закоси что-нибудь поесть поприличнее. Нет, сациви не катит. Тащи вино, гуду и грецкие орехи. – Повернулась ко мне: – Так он полый, на хрен, деточка? Или в засаде у него что-то есть?

– Завтра доктор Дарвин передаст эту штуковину лабораторной челяди, и мы получим ответы не только на этот, но множество других вопросов, которые пока в засаде.

– Меньше всего мне хотелось бы на этом этапе передавать артефакт в чьи-либо руки, – сказал Тихон.

– Ограничимся УЗИ, – успокоила всех Дарвин…

Кастелянша Люба, они называли ее прислугой, вкатила в библиотеку столик на колесах с четырьмя бутылками белого вина в плетеной корзине и тарелками с орехами и сыром. Люба знала пристрастия хозяев.

[36] Двух неумелых придурков.

– Это «Цинандали» – знаменитое грузинское сухое вино. Дьявольски вкусное, – заметила Нина Георгиевна. – Чем больше пьешь, тем больше хочется. Если вино настоящее, то перед розливом его три года держат в дубовых бочках.

– А если нет.

– А если нет, мы пьем скотч, – улыбнулся Тихон, разливая вино в бокалы.

Я была на седьмом небе от счастья. Мешал сыр. Гнусный запах еще влажной солдатской портянки после долгого марш-броска так густо заполнил библиотеку, что его можно было резать ножом. Я старалась поменьше дышать. Втягивала воздух в легкие через рот, но запах все равно проникал в меня. Евсеева помойка в морге казалась отсюда альпийской лужайкой. Голова кружилась. Тошнило.

– Простите, ненадолго оставлю вас.

– Не бойся дуркануться, деточка! – успокоила Старая Сука. – Положи кусок сыра в рот и подержи. Нет! Не глотай, черт, сразу.

Сдерживая тошноту и не дыша, я закрыла глаза и сунула в рот кусок овечьего сыра по имени «гуда». Твердый, скользкий немного, ни на что не похожий, как артефакт. Он вызывал единственное чувство: его хотелось поскорее выплюнуть.

– Нет, черт возьми! Не смей! – заорала Старая Сука. – Его надо разжевать, чтобы до конца ощутить и понять этот колдовской вкус.

И чем больше я жевала и глотала, тем сильнее хотелось положить в рот еще кусок. А запах сыра, в котором смешались вонь солдатской портянки и застоялый дух овчарни – шерсти старого барана, дыхания овцы, ее молока, воздуха горных селений Грузии, где делают гуду, – стал для меня не менее притягательным, чем его потрясающий вкус. Швейцарский «Эмменталь» отдыхал.

– Запивай вином, детка! – просвещала Тихонова жена. – Кусочек сыра – глоток вина. Кусочек сыра, черт, глоток… – Старая Сука привычно чертыхалась. И эта привычка нравилась мне все больше.

– В общаге универа в другом урюпинске Никифороф пила азербайджанское вино и заедала плавленными сырками, – печально заметила Дарвин и подлила в мой бокал из своей бутылки. Отошла к бару. Вернулась со стаканом скотча. Села и стала пить редкими мелкими глотками, поглядывая на артефакт. Наглядевшись, взяла в руки и принялась вслух читать из детской сказки:

– «Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула. Яичко упало и разбилось. – Подняла голову: – Дед плачет. Баба плачет. А курочка кудкудахчет: – Не плачь, дед, не плачь, баба…».

– Утомляешь, Дора! – строго сказал Тихон. А Дарвин, будто в трансе, повторяла и повторяла: – Мышка бежала, хвостиком махнула… – Встала. Выронила артефакт на толстый коричневый ковер. Мы не услышали стука, потому что артефакт не упал, но странно завис над ковром. Мы повскакали с мест, подбежали к шару, будто уже ждали чего-то.

Картофелина неподвижно висела над толстым ворсистым ковром с монограммами ТиТиПи. Мы тоже замерли в предожидании чуда. И оно случилось: картофелина зашевелилась и медленно начала подниматься над ковром, пока не повисла над нашими головами, как на клумбе. Подержала паузу. Сделала круг по библиотеке, останавливаясь ненадолго у застекленных шкафов с книгами, что стояли по стенам от пола до потолка.

– Господи! Я оху. аю! – шепотом сказала Старая Сука. – Оно летает, будь я проклята!

– И читает! – заметила Дарвин.

– Сейчас она откроется, – принялся фантазировать ТиТиПи, – и из тарелки…

– …выберутся маленькие человечки, – продолжила Дарвин. – Они отберут у тебя институт и урюпинск в придачу…

– Похоже на шаровую молнию, – сказал Тихон, стараясь отвлечь Дарвин.

– …которую нам удалось приручить. – Дору было не остановить.

– Как ты думаешь, Никифороф?

– Вам виднее, Тихон Трофимыч. – Мне было хорошо и комфортно, и приятно всякий раз прикидываться идиоткой, отвечая на идиотские вопросы Тихона. Но чем больше я прикидывалась, тем дольше и внимательнее он смотрел на меня. И глаза его не сулили хорошего.

Я пришла в себя. Взяла в руки шар. И просто, будто с баночки ночного крема или дневного, свинтила крышку, которой не было. Заглянула внутрь. Сунула палец. Подержала и заявила, как на пятничных конференциях в Лэбе:

– Там вода. Структурированная вода. – И, потрясенная случившимся, собралась запрыгать и захлопать в ладоши, как детдомовская девчонка-малолетка. Но стояла окаменелая и боялась пролить волшебную воду. И не знала, что делать с шаром…

Дарвин забрала у меня картофелину, поднесла к носу. Подставила ладонь. Наклонила. У нее хватило мужества не отдернуть руку, когда жидкость пролилась из упаковки и… застыла в воздухе над ладонью, поражая невиданной силой, мощью и масштабом, сконцентрированными в капле. Жидкость струилась, как потоки воды в водопаде Анхель, и не проливалась.

– Капля этой жидкости может стоить миллиарды долларов, – осторожно заметил Тихон.

Возможно, он был прав. А жидкость… жидкость казалась живым бриллиантом. Мы замерли, разинув рты: поверхностное натяжение у нашей воды должно было быть не меньше, чем у ртути, а вес…

– Похоже, жидкость действительно структурирована, – сказала я, глядя на каплю. – Ее структура перестроена относительно равновесия к окружающей среде.

– И плотность резко поменялась и стала ниже плотности воздуха, – добавила Дарвин. – Поэтому она…

– Никифороф права, – ввязался в дискуссию Тихон. – Ключевое слово здесь – перестройка. Перестройка структуры, делающая нашу воду другой. Хотя обычная вода из-под крана тоже является аномальной жидкостью. Науке известно, что вода резко выпадает из плавной зависимости температур плавления и кипения родственных с ней жидкостей – гидридов VI группы Периодической системы элементов Менделеева. Если бы общие закономерности выполнялись и для воды, то она замерзала при минус 100° и кипела бы при минус 76° Цельсия. Этого не происходит из-за того, что между молекулами воды действуют силы, которых нет в родственных ей гидридах. Эти силы называют водородными связями. Понятно, что в другой воде эти связи претерпели еще большую перестройку… – Тихон помолчал, давая нам проникнуться значимостью его слов, и добавил, но без прежнего оптимизма: – Возможно, в результате специфического перераспределения электронной плотности.

Дарвин подняла ладонь, поместив в нее каплю. Поднесла к глазам, чтобы понять природу. Отодвинула. Перелила содержимое из ладони в ладонь.

– Подбрось, – сказал ТиТиПи осипшим голосом.

Дарвин резко опустила ладонь. Вода не пролилась на ковер, не разбилась на тысячи брызг от удара. Она просто осталась висеть в воздухе. И выжидала, преломляя свет и пугая необычностью.

Дарвин повернулась спиной к капле и двинулась к двери. Капля помедлила и послушно потащилась за ней, наплевав на остальных, как таскалась за Герасимом Му-Му, как за мной постоянно топает еж МаркБорисыч. Только не может неорганическое вещество привязаться к человеку, быть понятливым и смышлёным. А океан в лемовском «Солярисе»? Хотя, это было на другой планете. Ни одно сравнение не годилось…

А капле надоело таскаться за Дарвин, и она двинулась ко мне. Приблизилась, зависла возле головы, демонстрируя свою привязанность.

– Прикажи ей стать кубиком, Дора. – Тихон вспомнил, что он директор института.

Дарвин усмехнулась и погрузилась в фольклор: – «Сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!».

А я погрузилась в глубочайший когнитивный диссонанс, вспомнив матерный эвфемизм, приписываемый уже более ста лет этим сомнительным строчкам из сказки Ершова про Конька-горбунка. Мне было стыдно за себя, за Дарвин. А она на полном серьезе продолжала шутить с пространственно-временным континуумом другой воды и трансом, в котором пребывали мы все:

– Стань кубиком, Изделие, как хочет папа Тихон. Пожалуйста!

Мы ждали. Капля не шелохнулась. Мне показалось, что прямо сейчас, из засады, она улыбнется и скажет Дарвин: – Не зависай, чува!

Я не выдержала и, стыдясь себя, попросила: – Пожалуйста!

Капля шевельнулась, задвигалась и трансформировалась в нечто, похожее на кубик. Мне показалось, что недавнее сообщение ученого япошки, утверждавшего, что обычная вода определённым образом меняет свою структуру под воздействием человеческих эмоций и музыки, уже не выглядит столь безумным.

– А теперь стань трубочкой! – стала командовать Дарвин, входя во вкус и отбирая у меня инициативу. Но не случилось. Капля закапризничала. Дарвин напряглась: – Пожалуйста! Попробуй еще раз.

– Возможно, у капли более высокое предназначение, – сказала я. – Возможно, она старается познать себя, так же, как мы – ее. Трансформировавшись в кубик без упаковки, вода показала нам свои возможности. И сказала: – Обучайте! – Или подумала так… Попросите каплю трансформироваться в трубочку еще раз.

Дарвин взяла каплю в руки. Коснулась пальцем и прошептала на выдохе:

– Стань трубочкой.

Во мне проснулась детдомовская девочка-хулиганка, и я решила, что для капли самым эффектным решением стала бы трансформация в большой клитор или пенис. Но капля так не думала. Она вообще не думала. Я перехватила инициативу у Дарвин и сказала демонстративно равнодушно, понимая, что капля явно тяготеет ко мне:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.